

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

● Как сэкономить личное время? Для этого предлагаем воспользоваться безналичными расчетами по платежам за квартиру и другие коммунальные услуги по месту работы.

● Затратив всего 2—3 минуты на оформление заявления в бухгалтерию вашего предприятия или организации, вы освободите себя от систематического посещения сберегательной кассы для оплаты коммунальных услуг. Необходимая сумма будет удерживаться из вашей заработной платы и перечисляться организациям — получателям платежей.

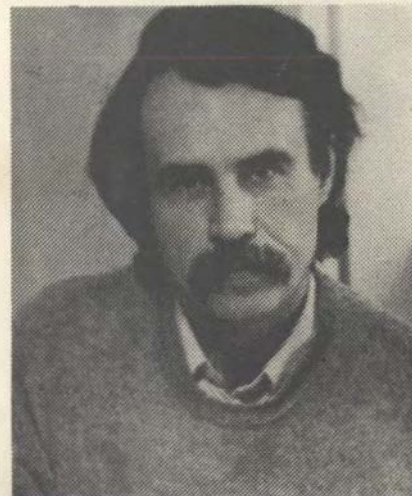
● Безналичные расчеты по платежам за квартиру и другие коммунальные услуги по месту работы — это большой резерв экономии вашего личного времени!

Российское республиканское
Главное управление
Гострудсберкасс СССР



№ 1

1988



Владимир МАКАНИН

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

ГОЛОСА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 1

Владимир МАКАНИН

ГОЛОСА

ПОВЕСТЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Владимир МАКАНИН

Владимир Семенович Маканин родился в 1937 году в городе Орске на Урале.

Окончил Московский государственный университет, а также Высшие Курсы сценаристов и режиссеров. Живет в Москве. В 1965 году дебютировал повестью «Прямая линия». С тех пор писатель выпустил много книг прозы, в числе которых «Ключарев и Али-мушкин», «Предтеча», «Где сходилась небо с холмами». Печатается в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал», «Север». Много книг прозы выпустил за рубежом.

ГОЛОСА

1

Начинаясь в полутора километрах от поселка, Уральские горы, как и положено им, набирали высоту постепенно — они не торопились, забирая у неба еще и еще понемногу. В определенные дни и в определенные часы солнце жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались *Желтыми горами*. Пройдя долинами пять или шесть, иногда восемь гор, пацаны обычно успокаивались на достигнутом и дальше не шли. Тут случался известный парадокс. Желтые горы оказывались не там, где мы сидели и где разжигали дневной костер, а дальше — горы как бы отодвигались. Сколько ни иди, *желтые* вершины отодвигались, и попасть на них было нельзя — а видеть их было можно. Это относилось не только к горам. Это относилось к чему угодно. Рукой не взять, а видеть можно — формулировка включала в себя огромный, часто болезненный опыт прославленной уральской широты и терпимости. Родается ли человек с терпимостью, а если нет, с чего она начинается, — поди знай.

В поселке жили две американские семьи: инженеры. Они жили в хороших по тем временам, специально выстроенных коттеджах на отмеренном расстоянии от наших бараков. Часто в нашу сторону дул ветер, и мы слышали запахи обеда, точно так же, словно разносимые ветром, в поселке застревали американские словечки. И самое ходовое из них, прозвище Мистер, прицепилось к Кольке. Колька был из тех мальчиков, что ходят степенно и спокойно. Вздувшаяся селезенка определяла его силуэт, казалось, что у него солидный и небольшой инженерский животик. К тому же он был худ и тощ. Из левого бока у него торчала отводная трубка, через которую он мочился. Жить ему оставалось около года, ему было двенадцать лет, а в тринадцать он умер.

Долинами мы прошли, по-видимому, большее число гор, чем обычно, и я вдруг произнес с ощущением достигнутой: «Ну вот, Мистер, — мы пришли. Тут уже Желтые». Не знаю, почему я тогда так решил и так уверенно поставил точку. Я и Колька лежали возле костра, глядели в небо и грызли травинки. Это было примерно в половине чет-

вертого и при ярком, но уже не палящем солнце. Помню, я поднялся с земли и в остолебении смотрел перед собой — горы кругом лежали разбросанные, как шапки.

— Желтые... — повторил я робко. А благодная минута вдруг истаяла. Высвобожденная энергия моих клеток хлынула наружу. Я завертелся волчком — я носился с камня на камень и дико вскрикивал. «Ос-споди! — произнес Колька Мистер своим скрипучим, серым голосом. — И чего скачешь?» А по лицу нет-нет и пробежала жесткая нехорошая его улыбочка. Улыбочка всегда была при нем. Он относился ко мне (и к другим пацанам тоже) как к маленьким. Мы были одноклассники, но он был много старше меня, мне было двенадцать, а ему шестьдесят два или около того. Он был худой, чуть прихрамывающий мальчишка, одна нога у него была сухая, как сухая ветка.

— Желты-е-е! — выкрикивал я, захлебываясь минутой. Вершина была плоская. Можно было скакать туда-сюда и все еще сомневаться — на вершине ли ты? — плоскость увеличивала желтизну вершины до ослепительности. Я скакал, а Мистер сидел на небольшом камне. Он сидел согнувшись и, как и положено старичку, вбирал истощенной спиной солнце. Но вот он убрал свою улыбочку. Он посерьезнел:

— А ты расскажи, что мы до самых Желтых гор дошли, — матери и тебе.

— Зачем? — я насторожился.

— Порадуй. И что-нибудь пожрать выпроси. — Он уже умел оценивать и отделять испытываемое чувство. Моя мать горы любила, Колька это знал — вот именно, рассказать матери и теткам, какие нынче были красивые горы, и что-то у них, женщин, за это получить. Что-нибудь, хоть малость. Что удастся. В Кольке жила откровенная ранняя практичность, и это не было чертой характера — это было сильно выраженным признаком постарения, признаком приближающегося конца. И лишь отчасти признаком его полной заброшенности и одиночества.

Так и было: ему казалось, что я не умею получать радость от жизни, во всяком случае, *зарабатывать* эту радость, и что он, как старик, мне в этом поможет и меня научит. Он старался свой практицизм употребить кому-нибудь на пользу. Он делал это своенравно и даже назойливо: он считал нас маленькими. В школе он не учился, потому что часто болел, потому что от него пахло и потому что бывали случаи с непроизвольным опорожнением мочевого пузыря. Родные велели ему работать. Они думали, что он будет жить вечно. Они говорили: «Ты должен приспособливаться к жизни. Ты должен — плохо ли, хорошо ли — трудиться, как же ты будешь жить дальше?» И Мистер, чтобы знать, как жить дальше, работал в артели инвалидов. В поселке пятидесятилетние инвалиды днем прикладывались потихоньку к рюмке и сидели с малыми детьми, — к семи часам вечера дети под их наблюдением начинали реветь в голос. В семь с работы возвращались отцы и матери; кроя инвалидов последними словами, они хватали детей на руки и кормили их ка-

шей, инвалиды, в свою очередь, гневно, с обидой хлопали дверью и (из разных концов поселка) ручейками стекались в артель — в небольшое подвальное помещение, где начинался с семи вечера лягз и скрежет металла. Они делали там пряжки, замки, ключи, дверные ручки, а также подшивали на зиму валенки. Колька Мистер работал у них только с семи до десяти вечера, три часа — а потом он сбегал, чтобы бродяжить. Впереди у него была ночь. Цели у него не было — он ездил в разбросанные вокруг поселка деревни, иногда хитренько заискивал, а иногда врал шоферам, что разносит ночные телеграммы. Он стоял, ожидая попутку на дороге, в затрепанном ватнике; ватник доходил ему до колен — в одном кармане две-три картофелины, в другом — хлеб. Шоферы его знали. Когда фары выхватывали из темноты маленькую тщедушную фигурку, стоящую на обочине с поднятой кверху ладонью, машина останавливалась. Иногда, если шофер хотел поболтать, Мистера сажали в кабину; это случалось редко.

— Ос-споди, — рассказывал он. — Да в кузове мне куда лучше. Если что, я там могу помочиться в сено или на доски.

И вот: первый рассказ, который я в юности написал, был о Желтых горах, о той самой минуте, когда воздух и пространство содрогнулись, а во мне возникло ликующее освобождение и чувство достигнуто-сти, — о той минуте, когда я скакал с камня на камень. Рассказ не получился. Восторг и умелой-то руке передать трудно или даже невозможно. Восторг чаще всего сфера устной речи, автор этого не знал: я попросту начал с изображения одной из ярчайших минут своей жизни, это казалось естественным. После недолгой шлифовки я поволок рассказ в редакцию журнала; я спешил, я приближался к дверям — потный, трепещущий, и характерно, что это была мелкая и даже пошленькая по внутреннему состоянию минута жизни. Полная противоположность минуте, о которой писал в рассказе. Все, что было во мне тщеславного и суетного, я нес тогда в себе: и с каждым шагом, приближающим к редакционным дверям, оно во мне набухало, как набухает нарыв. А рассказ назывался — *Желтые горы...* «Зайдите через месяц». — «А?» — «Через месяц». — И конечно же, через месяц мне сказали все, что должны были сказать. Автор унес рассказ с собой, истекая раненым самолюбием. С этой минуты я стал пишущим — и не смешиваясь, как белок и желток в яйце, во мне жили теперь две эти противоположные по сути и знаку минуты. Минута Желтых гор. И минута приближения к редакции... Дверь была как дверь, и прямая связь этих противоположных минут обнаружилась незамедлительно: — автор поверил, что Желтые горы — это слишком пышно, и что это слишком громко, и что это звучит музыкой лишь для него одного. Увидеть, мол, можно, а рукой не взять.

Следующий рассказ был тем не менее тоже о Желтых горах. Но, как водится, он сменил одежду. Вторая попытка всегда немного маска-

рад. Рассказ был облачен в новую и в соответствующую форму — в форму повести о страданиях молодого человека. Штука вот в чем: к ощущению Желтых гор прибавилось ощущение, довольно болезненное, что эти самые Желтые горы не приняли и не признали, а более общо — не приняли и не признали их автора. Автор изводил бумагу, автор старался, автор шел к НИМ с лучшим, что у него есть, — и вот на тебе. Так и получилось: обида за себя вела в прорыв, тылы прикрывала обида за горы. Страдания молодого — это не только целый жанр, но и путь всякого или почти всякого пишущего. Он пишет, а его не печатают — это как долгая дорога. В то время на редакции накатывалась огромная волна подобных рассказов, повестей и романов. Огромное море личных обид и досад шумело и плескалось, как и положено шуметь и плескаться морю. Времена меняются, и позже в моде стал стиль, еще позже экзотика притчи, но в то время, и это точно, в моде пишущих была именно она — личная обида и непризнанность. Стержнем повестей было непризнание. И, скажем, начало повести было как бы даже узаконенное; ОН приходил к НИМ; а то, что, по сути, это был приход автора в литературу, оставалось в скобках.

ОН приходил к НИМ, неповторимый и особенный, милый, наивный, готовый любить и объять весь мир, — он приходит на завод или в лабораторию, геоз экспедицию, на рыболовецкий сейнер или просто на чужую вечеринку. Его замечают. Его любят. Его даже немножко балуют. В пестрой игре взаимоприятий и отталкиваний у него появляется ДРУГ. На него обращает свое львиное внимание САМ начальник, начальник назывался по-разному:

Директор завода.

Шеф.

А. Б.

Капитан сейнера.

Хозяин вечеринки, который может любого из гостей выставить за дверь.

И, как бы закрывая список, на него, юного и наивного, обращает внимание, выделяет его и отмечает КРАСАВИЦА ЖЕНЩИНА с удивительно грустными глазами, улы, замужняя. Она, разумеется, стройная, но полненькая, полногрудая, и, конечно, она постарше нашего героя. Комплекс Бальзака. Скрытая и тщательно припрятанная за гибкими фразами смена времен: пишущий юн, он уже знает тягу к женщине, но еще помнит материнскую ласку. Облик этой красавицы женщины, появляющейся на страницах первой повести, почти вычисляем наперед. Оттенки, впрочем, и тут могут быть, — у нее, например:

Маленький ребенок.

Маленький ребенок плюс болезненный муж.

Нет детей; и потому особенная, изящная, женская тоска, —

и, разумеется, при всем том она верна мужу и как женщина стабильна, иначе для молодого это не искушение и не любовь — иначе это не литература, как он ее пока понимает.

Но вот что-то случилось, стряслось на этом самом заводе или сейнере, например, беда. Или несчастье. Или даже катастрофа, для отыскания причин которой люди должны оглядеть самих себя и указать виновного. Нашего героя, такого неповторимого и особенного, и уже было любимого всеми, неожиданно бранит САМ начальник. Отворачивается в трудную минуту ДРУГ. Перестают любить и прочие. Лишь красавица женщина с грустными глазами не может его предать, как предают все, — она колеблется. Она непременно колеблется. Она мучается. Однако с той стороны на чашке весов болезненный муж, маленький ребенок, работа, и вот, кинув юнцу ту или иную подачку:

Поцелуй.

Вечер вдвоем.

Печальный разговор по телефону, — она тоже уходит в тень.

Точнее сказать, наоборот: она покидает нашего юного героя, как покидают его все, и уходит туда, где свет. А он — в тень. Он один, как и был, когда только появился на первой странице повести. Теперь он совсем один и подчеркнуто один — он испытал людей и их чувства на прочность и, израненный, ушел от них. Уход совершается по-разному. Вернулся в свою родную деревню. Уехал в тайгу. Умер. И так далее.

При общности схемы у каждого пишущего было, конечно, и своеобразие. Мол, к примеру, юный герой, оставшись один и во тьме, — случайно, нечаянно, уже уходя от людей, — вдруг увидел Желтые горы. То есть шел он и шел, гонимый и бедный, и вот увидел их желтые вершины. Это и было сутью, это меня и вело. Но Желтым горам не повезло и здесь, и, забегая много вперед, скажу, что им не повезло ни разу, можно сказать, что это был голос, так и не прозвучавший, — случайно или нет, но Желтые горы постепенно оттеснялись в сторону, их вычеркивали, как сговорившись. Некоторое время они норовили пролезть обходным путем, но я был начеку, я теперь сам вытравливал их. И они отступили. В тот раз мне сказали, и я услышал, что в повести кое-что сделано выразительно, а местами даже тонко. Мне сказали, что мой молодой человек просто прелесть, да и начальник, пожалуй, удался. И в придачу, когда я уже слегка млел от негромких их слов, сказали, что единственное, что в повести откровенно лишнее, слабое и некстати, — это горы.

Был в повести и двенадцатилетний мальчик, тот самый Колька, по прозвищу Мистер. Он был, как и в жизни, — болезненный, нежалующийся и со стариковскими замашками. Он был с ногой сухой, как сухая ветка. Роль в повести была у него малая, эпизодическая, с птичьими пра-

вами, тем удивительнее, что он был замечен, — все до единого читавшие повесть хаяли мальчишку, сокращали его реплики и вообще истребляли его, как могли и умели, а больше всех я сам, вдруг заметивший этот хитрый подвох и подлог со стороны уже как бы навсегда вычеркнутых из сознания Желтых гор. В итоге я его вычеркнул напрочь, и получилось так, что с этого дня и часа Мистер сросся навсегда с Желтыми горами: отвергнутое объединилось с отвергнутым. С той поры длится моя вина перед ним, всегдашняя вина выжившего и живущего, а дорогу в горы стало привычкой вспоминать с того поворота — и с той обочины, поросшей высокой полынью. Мы там стояли. Фары грузовика сначала лениво ползли по ночному косягу, высветили копну сена, а потом, полоснув, выхватили из ночи нас. Кверху взлетала жидкая дорожная грязь. Шофер посадил меня в кабину, а Мистер полез в кузов — они его почти всегда сажали в кузов.

Машина гудела. Шофер, покручивая баранкой, спросил:

— А ты тоже болел?

Он спросил и дал понять голосом — обычный ночной шоферу га, — что он мне сочувствует и, даже если я признаюсь, он не станет гнать меня в кузов. Он просто хотел поговорить, вот и все. Он был молот и добродушен. Тем не менее я промолчал. От неожиданности во проса в груди что-то стиснулось, и я онемел.

Когда мы вылезли на перекрестке и уже шагали проселочной дорогой, Колька Мистер мне втолковывал:

— Оссподи! — Он усмехнулся своей усмешечкой. — Ты бы сказал ему — болел, мол, корью, гриппом, ветрянкой, а триппером, мол, пока не болел, потому что маленький. — Обстоятельность и злая точность его ответов являлись для меня тогда неслыханной мудростью. Он был и в ответах практичен. Он глядел на земные дела цепко, горько и безмало-мальской фантазии. Он шел по проселочной дороге, чуть припадая на сухую ногу. Я шагал рядом с ним, вонь машины забылась, и уже на полняло ощущение огромности ночного пространства, — деревня была близко, залаяли собаки.

Мать относилась к разряду литературных «табу»: она могла быть мелочной, крикливой, она могла быть, скажем, строгой, она могла поведением своим неосознанно портить дитя, но в критический момент — она мать, и этим все сказано, и я уже знал и помнил, что читатель тоже про это знает и помнит. Потери в образе шли не только от этой оглядки, но и от самой выучки тоже. Реальная мать Кольки Мистера не была, однако, ни крикливой, ни мелочной, она отнюдь не была лишена доброты, а вот жизнь у нее была как бы своя, самостоятельная, и Мистер ее не возобновлял.

Особенно же кичилась она высокой своей ответственностью. Она работала бригадиром маляров — в бригаде были только женщины, и все

их она держала в кулаке. Она умела влиять, умела убеждать. Бригада часто перевыполняла план, получая всяческие поощрения и награды. Я повторяю: мать была несомненно одаренная женщина. И энергичная. Мужу она устраивала истерики, и это не были истерики плачущей женщины — это были скандалы гневливой барыни. Она называла его неудачником, а считала, конечно, ничтожеством. Кольку Мистера, вид которого причинял ее самолюбию боль и досаду, она тоже старалась не видеть и, если можно, не слышать. Она чуть не лбом билась о стену, чтобы его взяли летом в пионерлагерь, но устроить в пионерлагерь мальчишку, неучащегося и с патологией, было даже для нее сложно. Однажды она (уже почти добившись своего) в окружении баб победоносно восклицала:

— Ну, сын, хочешь в пионерлагерь? Признавайся, ну?

Сын молчал.

— Вы не представляете, каково мне было этого добиться! — говорила она бабам.

— Ну ясно. — Бабы кивали. Бабы соглашались.

— Вы не представляете, сколько я сил на это угробила. Сколько нервов!

— Ну ясно... Само собой! — И бабы дружно стали ей говорить, какая она молодец, и как ей тяжело с Колькой, и какая вообще жизнь тяжкая. Они любили ее — и, конечно, побаивались. Они стояли кружком и грызли семечки после бани. Они были красные и распарившиеся. Они сжимали в багровых бабьих руках узелки и узлы, в бане они не только мылись, но и устраивали стирку. Мать Кольки тоже с ними стирала и тоже мылась, и вот теперь, бросив узел на скамью, она вновь радостно и возбужденно спросила:

— Ну, сын, хочешь в пионерлагерь?

Совершенно спокойно, притушив умненькую и злую улыбочку, Мистер негромко ответил:

— Осподи, да спихни меня с рук куда хочешь.

Женщины, восторженно взглянув на него — маленький и мудрый старичок смотрел и не смотрел на них, сплевывая семечную шелуху. Он отвечал матери всегда негромко, его послушание было всегда стопроцентным и всегда внутренне ядовитым. Не способные уловить отенок — после паузы — мать и за ней остальные женщины отвернулись и опять заговорили о бараке, о комнатухах, в которых ютились. Мать Кольки в то время хотела (и позже она пошла по этой лестнице вверх) проникнуть в завком и распределить там скудно строившееся в поселке жилье. Она спала и видела, как во всеоружии своей справедливости она делит комнаты, а может быть, распределяет квартиры; квартиры тогда были неслыханной роскошью. Она грозилась:

— Вот погодите. Вот я влезу туда — и покажу им, как надо делить.

Отец Кольки был человек, травмированный войной, слабовольный, подавленный женой и тихий, точнее сказать, смирный, однако с вну-

тренней и тщательно скрываемой жаждой — дожить жизнь как жизнь. Сам с собой отец Кольки вел такие, неслышанные другим разговоры:

— За плечами вся жизнь — а я еще не отдохнул.

Или:

— Прожита жизнь, а я ничего не видел...

Или:

— Жизнь прожил, а еще и не любил никого по-настоящему...

Был он преподавателем техникума; рассказывая об изоляционных материалах, он время от времени платонически влюблялся то в одну, то в другую студенточку, подолгу раздумывая и колеблясь, стоит она или не стоит его любви — отдать ей или не отдать остаток своей жизни. Он их разглядывал, перебирал, одну за другой браковал и боязливо играл глазами — студенточки считали его чудаком. Они считали его контуженым. Занятия он вел замедленно-замогильным голосом. Сына своего он воспринимал как очередную неудачу в жизни. Отец считал, что он стоил лучшей доли, он считал, что он стоил лучшего сына.

— Вот и здесь мне не повезло... Горе ты мое, — начинал он вдруг со вздохом. И тихо (и не без опаски) пытался положить руку на голову сына.

Иногда среди ночи отец свешивал ноги с кровати, выходил в коридор барака и курил — думал о тяжелой своей жизни. Жизнь проходила, а отец, как ему казалось, очень мало узнал и очень мало увидел.

— Я *никогда*, — тихим и укоряющим себя самого голосом начинал он, — не ловил сетями рыбу. Никогда...

Или:

— Я *никогда* не видел города Гурьева.

И он уезжал с кем-нибудь в далекий Гурьев. Или на озерную рыбалку. Он возвращался и тихо оправдывался, тихо и прибито сносил крики жены, — тихо и потаенно он тоже хотел прожить *собственную* жизнь. Он только об этом и думал и был похож на человека, который мучительно не понимает, почему из отдельных капель никак не соберется в целое дождь.

Сестра — а она была старше Кольки Мистера на три года — была прежде всего отличница. Это верно, что она была человек глубоко порядочный; ни артистически-энергичная деловитость матери, ни скрытая и тихая фальшь отца не передались ей ни граммом. Но именно поэтому ее душа сформировалась и съжилась в сторону сухости. Она была тихоня в школе. Тихоня на улице. Тихоня дома. Напряженно следящая за своими оценками отличница, она, затаившись, ждала дня и часа, чтобы побыстрее получить свою золотую медаль и уехать в какой-нибудь университет — Свердловский или Саратовский — уехать, уйти, убежать и, вынырнув где-то, начать жить снова и заново. Сестра Кольки была непоколебима в своем и ничуть не боялась, скажем, упреков от своих подру-

жек и одноклассниц в том, что она, мол, льнет к учителям, — она была выше упреков. Она приходила вечером к той или иной учительнице, сидела у нее, беседовала, пила чай и выбирала себе книги — учительницы ее не любили, но уважали и честно делали свое учительское дело, держа свои двери для нее открытыми и свой чай горячим.

— ...Позоришь нашу семью — вор! мелкий воришка! — громоподобно кричала мать, когда Кольку Мистера и меня поймали с картошкой, которую мы надергали, чтобы нести в горы. Не проронив ни слова, потемнев лицом, сестра тут же собирала тетрадки и уходила к учительнице. Звали сестру Олей, Оля-отличница. Она шла к учительнице, чтобы поупражняться в решении логарифмических уравнений, — она шла по улице поселка, зажав тетрадки, и повторяла бескровными губами (чтобы время, пока она идет, не пропало зря) выученное наизусть:

Октябрь уж наступил. Уж роща потряхает
Последние листы с нагих своих ветвей...—

а мать ее в тот день специально отпросилась с работы — она пришла, чтобы пороть Мистера за мелкое воровство и чтобы порок этот в нем не угнездился на будущее. Мать пришла не одна, а с подругой; и вот две сорокалетние женщины с суровой решительностью принялись за дело. Дело предстояло, в общем, нетрудное и обычное. Меня они не тронули: пусть его дома *свои* порют. Но и не выпустили — пусть смотрит. Они схватили меня, когда я хотел выскочить в окно.

— Э, нет. — И окно заперли. Я стоял, озираясь волчонком, пока до меня доходил их сложный замысел. Мать закричала на Кольку, она должна была себя взвинтить — она кричала, что семья их была и будет, пока она жива, достойной семьей и честной. Как раз в эти дни ее бригада вновь выдвинулась, и мать находилась как бы на взлете, — и потому, быть может, она и вторая женщина-малыар кричали, хорошо слыша собственные правильные слова: «Честным становятся с детства!», «Все начинается с пустяков — с картошки!..» Они перебивали и взвизгивали друг друга — он же стоял напротив, маленький старичок, спокойный и пронизательный, и только нависшая конкретная опасность не давала ему улыбнуться нехорошей своей улыбочкой.

Наконец они схватили его за плечи, как куклу, но кукла была, в общем, начеку и успела произнести — как всегда негромко:

— Ну вы, поосторожнее. Не сломайте мою пиписку.

Они на миг приостановились, на миг попридержали свои большие руки — и теперь Мистер, уже успокоившись, что сторача они его не изуродуют, сам пошел к кровати. Он лег лицом в подушки. Лицо было вполоборота к стене. Женщины вновь закричали, набирая из недр инерцию движения и расправы — неужели он хочет всю жизнь быть воришкой? Неужели он не поймет раз и навсегда?. Появился ремень, и мать била Мистера по тощему задку — не так чтобы сильно и зло, однако постепенно входя в ритм и в азарт. А женщина-малыар выкрикивала, как

бы сопровождая педагогикой эти удары. Она выкрикивала громко. Потом тише. Потом еще тише. И вот в голосе ее появились первые нотки подведения итогов:

— ...Теперь он поймет... Теперь он умнее будет.

И обернувшись ко мне:

— А ты смотри и думай. Тебе это на пользу.

Мистер поднялся. Он был бледен, но не озлен. Губы прыгали. Но он довольно спокойно сидел на кровати — он смотрел то ли на меня, то ли куда-то в пространство и словно вот-вот хотел произнести одну из расхожих своих фраз: не могли обойтись без цирка, осподи...

Мать заговорила:

— ...Хотим, чтобы ты был хорошим мальчиком и честным. Я ведь тебя люблю — как ты думаешь, кого я люблю больше всех на свете?

— Меня, — согласно и негромко поддакнул Мистер. Он заправлял в штаны рубашку. Она выбилась.

— Ну вот... Ты же мой любимый, сам знаешь. Ты же мой любимый, мой больной — как ты думаешь, почему больного ребенка мать всегда любит больше?

— Ну не надо, мам, не надо, — сказал он сдержанно и терпеливо и вновь очень негромко. Он заправлял рубашку и отряхивался, словно порка его запылила и теперь необходимо было почиститься. Губы уже не дрожали, но руки его все время делали какие-то мелкие движения.

Вскоре он начал копить и откладывать рубли про черный день, как это делают в старости; время, как известно, относительно, — жизнь Кольки Мистера кончалась, и потому в двенадцать лет он уже был и находился в *своей* старости. Отец, заметив отложенные деньги, сказал ему как-то с укоризной:

— Если ты такой сейчас — каким ты вырастешь? — Колька смолчал, он не ответил ему, каким он вырастает, — он уже вырос. Он работал в артели, а ночами бродяжил, он был человеком вполне самостоятельным и вполне подневольным, короче — взрослым. Жизнь уместилась для него в крайне короткий промежуток, и одиннадцать-двенадцать лет были для него, как шестьдесят для всех прочих, а перевалив шестьдесят, откладывать деньги про запас вполне естественно. Но меня в то время больше поражали мелочи — как он ловил сусликов. Или как научился сосать козу, пасущуюся меж поселком и горами; мы приходили к ней с крошками хлеба, мы подлазили к ней осторожно и с уговорами, пока она не стала покладистой. Колька Мистер был изобретателен как в поиске, так и в самозащите. Он уже глядел вперед. Однажды мы высосали присмирившую козу до дна, и он вздохнул, как вздыхают умудренные опытом старички:

— Вот увидишь — хозяева ее скоро прирежут.

Испугавшись, я забормотал:

— Давай сосать ее редко, тогда не прирежут.
— Да черт с ней,— сказал Мистер. И добавил, еще раз вздохнув, как старичок: — Другого опасуюсь.

— Чего?

— Как бы они не стали ее лечить.

И точно. Очень скоро козу накормили каким-то лечебным домашним зельем, глаза ее потухли, она стояла без движения, как стоял столбик, к которому она была привязана, а у нас начались рези и жесточайший понос. В первый день мы еле выжили, мы хватались за животы и ползали по горам на четвереньках, — а коза стояла за ручьем в кустах шиповника. От столбика в полдень падала короткая тень, коза стояла в двух шагах от колючек шиповника и жевала траву. Она и сейчас там стоит для меня как живая. Из деревни приехал мой дед, увидел ее и сказал коротко: «Это не коза». Мы шли с дедом по поселку, я показывал ему свои владения: школу, пустырь, горы — и хорошо помню, как он оглядел худое, несчастное существо, привязанное к колышку, и упрямо повторил: «Это не коза». Деду было семьдесят лет, он был громадный деревенский неряшливый мужик с седой бородой. На другой день я поехал с дедом в деревню. Зачем меня отправили с ним, уже не помню, — зато я помню, как мы вылезли из грузовика и по дороге дед заглянул в стоящую на въезде в Ново-Покровку старенькую церковь, — он вошел туда и час-полтора слушал спевку, а я сидел возле церкви, ковыряя в носу, и томился от жары и безделья.

Наконец дед вышел, — он появился на паперти, и за ним несколько мальчигов унылого вида.

Дед сказал им сурово:

— Нечего было и приходить... Ступайте себе.

Это были забракованные мальчики, помявшись, они двинулись по дороге, и некоторое время я видел в мареве их ситцевые рубашки. Они были моего примерно возраста, даже помладше, и все из разных деревень: на перекрестке они пошли кто куда, и пыльные дороги и белое марево поглощали их теперь каждого в отдельности. Это были *голода*, не попавшие в хор.

Когда я вернулся, мне сказали, что Колька слег; он лежал в постели — я обошел кровать, глаза его были открыты, и вот я попал в поле его зрения. «Колька, — позвал я. — Мистер...» — мне было жутко. Лицо у него было вздущееся: опухшая и черная лепешка. Он не ответил, он только зло и неприязненно шевельнул губами.

В комнате был полумрак. Доносился густой запах — в бараке кто-то варил фасоль. Отец и мать Кольки были на работе, Оли-отличницы тоже не было.

— Ктой-то пришел? — в другой их комнатушке за перегородкой слышалось движение и слабые шаги. Появилась их бабка — мать мате-

ри, худая и вечно несытая, потому что ее забывали кормить, а готовить себе она тоже забывала. Она появилась, посмотрела на мои руки — нет, ли там, в руках, какой еды, — еды не было — и прошла мимо.

Мать его была по самые края переполнена надрывом и бешеной взрывной энергией; она устроила сцену поселковому врачу, который дал ей понять, что Мистер обречен и что можно считать дни, — как это так? врач, если он настоящий врач, не имеет права так говорить! — мать взвинтилась, она вынесла сцену с врачом и свою боль на люди, там и здесь, у школы, и даже под окнами барака она неугомонно кричала и ярилась, так что и барак и весь поселок уже знали, что Колька обречен. Потом мать красила забор — полутораметровый, которым только-только обнесли котельную, — мать быстро и ритмично, с профессиональной «маслянистостью» руки водила кистью сверху вниз. Она умела работать. Она стиснула зубы: если бригада отстанет, ее не осудят слишком — у нее мальчик умер, любимый больной сын, кто этого не знает и кто этого не поймет. И чтоб не так болело и кололо в сердце, она стала думать о надвигающейся смерти *с той стороны* времени — она будет ходить к нему на могилку, она будет сидеть возле сыночка часами, нет, плакать она не будет, не дождетесь, недруги. У нее вдруг брызнули перестоявшие слезы, сквозь толщу бытовых мыслей она увидела лицо Кольки, нет, не лицо — личико, когда ей принесли и сунули его к груди в роддоме, — розовая, безликая, пустынько-радостная лепешечка — мой мальчик.

— Подтянись, девки! — крикнула она. — Обед скоро... Выполним, а? Мы ведь еще никого не подводили! — и энергично, властно, с покоряющей остальных пластичностью и мягкостью она зашпорила кистью по горизонтальной кладке каменного забора, — и как встрепенувшиеся за ней зашпорили все в бригаде.

Запутанный и подавленный матерью (она умела подавить кого угодно), врач вдруг впал в оптимизм. Он улыбался и размахивал руками. Он объявил теперь, что Колька не умрет; более того — вот-вот и начнется перелом в болезни, говорил он матери.

Мать кивала:

— Да... Коля в нашу породу. Коля из крепких... Мы и не из таких ям выкарабкивались.

Забыв, что она сама все эти слова внушила врачу, мать спрашивала у него, как бы даже заискивая:

— Стало быть, перелом в болезни, стало быть, еще неделя, да?

— Да, — подтвердил тот, — примерно неделя.

Барак притих. В бараке года два уже никто не умирал, и приближающаяся минута давила и угнетала. Через открытые окна барака доносилось дыхание Кольки Мистера:

— Си-си-си-си. — Посвистывание в его горле было слышно теперь с улицы.

Бабка ворчала, кивая на открытые окна:

— Отворено все в доме, куда это годится.

— Воздух нужен. — Мать говорила с бабкой властно.

Мать и Оля-отличница каждый час открывали окна, которые каждый час потихоньку плотно прикрывала старуха. Старуха ворчала:

— Какой еще воздух. Выдумали тоже. Умирает мальчишка — дайте ему в тепле умереть.

— Помолчите, мама! — одергивала мать.

Старуха поджимала в обиде губы. На улице было жарко. Солнце до черноты сжигало траву, но старуха все равно боялась простудиться. У нее мерзли и ныли кости. «И млеют мои косточки и млеют», — жаловалась она на улице прохожим. Или вдруг разевала беззубую и пугающую, как пустая церковь, пасть:

— Глянь-ка — не набухло у меня там?

Ей отвечали спешно, торопливо — нет, не набухло. Но она вновь спрашивала:

— Как думаешь, милый, не просквозило меня?

Занятий в школе не было, и Оля старалась теперь уйти с утра в маленькую поселковую библиотеку — она просиживала в одиночестве до самого закрытия. Никого, кроме нее, там не было. Оля не могла бы объяснить словами, почему она не выносит затаившийся мирок своей семьи, она и не искала сейчас слов, она сидела за шатким столиком, напротив полусонной старушки библиотекариши, и трудилась. Ее ждала где-то далеко отсюда (достаточно далеко) новая жизнь, и Оля это знала, и сердце свое держала пока глубоко в резерве, собираясь пустить его в рост никак не раньше, чем она переберется отсюда в Свердловск или в Саратов.

Отец выпивал: он навещал знакомых фронтовиков или же просто соседей. Потом, когда его выпроваживали в поздний час, он сидел сиднем на ночном опустевшем небольшом рынке (несколько грязных прилавков, обнесенных забором), на одном из прилавков он сидел, полчаса дремал, а полчаса разговаривал сам с собой. Он говорил себе все о том же — жизнь проходит, прошла уже, а счастья все нет. Не успел увидеть мир. Не успел пожить. Не был в городе Киеве — праматери наших городов. На курорте никогда не был. Даже на фронте мало чего видел. Даже жену выбрал себе несоответствующую, шумную и слишком заносящуюся. И вот еще ко всему — сын умирает...

Ночью, чтобы сыну было больше воздуха, все они спали в другой комнатухе, за перегородкой. И мать. И Оля. И старуха. Позже всех явившийся в дом отец — была уже глубокая ночь — включил свет, но за перегородку идти никак не хотел, чтобы, не дай бог, не получить от жены ночную выволочку. Он покачивался. Он оглядел пространство пола и придумал: лягу, пожалуй, тут, на полу, с сыном рядом... Уже стаянув сапоги, он обнаружил, что глаза у умирающего сына открыты. «Не спишь?» — спросил робко отец. Старичок не ответил. Звуки его затрудненного дыхания стали тоном ниже — с этой ночи он уже похрипывал.

Отец, не дождавшись ответа, произнес неуверенно и пьяненько: — Я спою тебе песню, сынок... Сейчас, только сапоги куда-нибудь пристрою. — Он покачнулся, но не упал. Он сел возле сына и запел тихую, протяжную песню, восполняя пением самому себе то, что недосказал себе, когда сидел в одиночестве на ночном рынке.

Колька, не желавший ни видеть, ни слышать, перебил его — захрипел громче, плечи его передернулись. Выговорить он не мог.

— Я спою, — попросил опять отец неуверенно. — Я спою... Сынок, это очень хорошая песня.

И тогда умирающий захрипел так, что отец тут же смолк и испуганно забормотал:

— Ладно, не буду, не буду... Я понимаю: ночь... люди спят... Я понимаю. — Он лег возле сына, свернувшись калачиком. Свет погасил он забыл, свет погасила вставшая среди ночи бабка. При этом она пнула спящего зятя ногой. И тщательно закрыла все окна.

На другой день Колька как-то вдруг похудел, отекавшее лицо сохлось, черты измельчились — голова теперь походила на маленький кулачок. Мать сидела с ним рядом — в нем была перемена, и в ней была перемена. Как это и бывает у богатых и одаренных натур, мать не видела ни малейшего противоречия в том, что обычно она говорила: «Бога нет. Есть материя», — и в том, что теперь она нашептывала умирающему сыну о боге: «Не плачь, моя сыночка, — она всхлипывала жалко и тихо. — Не плачь, мое родное. Боженька добр. Он тебя встретит, сынок...»

В горле ее стоял ком. Она хватала ртом воздух. Она шептала:

— Боженька добрый... Боженька добрый — ты его не бойся.

Умирающий мальчик хотел что-то сказать, но хрипы ему не дали. Мать торопилась сказать:

— Он ведь понимает — все понимает — ты ведь ангел мой — ты ведь безгрешен — он не припомнит тебе, что баловался ты или воровал — это ж ребенок — и к тому же время какое трудное...

Глаза у Мистера были ввалившиеся, в глазницу можно было положить небольшое яблоко, — и вот там (голова была наклонена вбок) на правые полукружья глаз выкатилось по худосочной слезинке. Колька не был растроган, не был умилен. Ему было жаль мать — но жаль не слишком; он смотрел на нее, как смотрят умудренные умирающие старики, зная, что так или не так, а жизнь кончена и к берегу надо плыть.

Теперь со сдержанной и как бы даже загадочной медлительностью сюда устремился весь барак, — всем было уже сказано и все знали, что он умирает; они заходили, вытирая ноги у порога, дети и женщины.

— Ссохся весь, — вздыхали старухи.

— Комбчек, а не человек...

А к вечеру этот ссохшийся комочек, в котором не было, казалось, уже ни пылинки жизни, стал кричать пронзительным человеческим кри-

ком. Сознание он потерял, но боль была, а может быть, и не боль — он кричал бессвязно, без слов, без оттенков. Это был непрекращающийся сплошной стон, который постепенно и самым естественным образом вырастал в звериный смертельный вопль. Казалось, притих не только барак, но и весь поселок. Пять часов кряду кричал этот комочек, то, что было и называлось его жизнью, выходило теперь наружу и растворялось в пространстве. На пустыре, за сараями, — там, где привязывали козу и выбрасывали худые ведра, — в бурьяне, на двух составленных кирпичач сидел его отец. Он был пьян и расслаблен. Скрывшись от криков сына и от глаз жены, он вновь думал о своей неудавшейся жизни, а когда с ветром все же доносился крик умирающего, отец в свой черед вспоминал и просил боженьку, в которого не верил ни на полкопейки, принять душу его сына с любовью и миром. Это напоминало сговор. «Как бы та хреновина ни обозначалась: материя или не материя, — бормотал отец, — ты понимаешь... ну, ты *в общем и целом* меня понимаешь, боженька. — Отец сплевывал в бурьян. — Короче: чтоб ты встретил его хорошо. Ясно?.. Ты понял?» — и отец пьяно грозил пальцем кому-то в бурьяне.

А тот, за кого он просил, продолжал кричать. Крик прекратился только к самой ночи — и с этой минуты тело Мистера уже не боролось, только в самой глубине тела что-то, казалось, еле слышно булькало.

Два пацана постояли у барака, переминаясь с ноги на ногу — крики уже кончились, — и пацаны пошли к горам, чтобы поболтаться *там* ночью и посидеть у костра. О Кольке Мистере они больше не думали. Эмоция жалости перешла за грань их понимания, и небольшие детские души не могли выдать и выжать из себя больше, чем они уже выдали и выжали.

— Жалко вообще-то, — сказал один.

— Еще как...

И они пошли.

Я тоже собирался в ту ночь уйти на Желтые горы, но дома не пустили. «Почему в ночь? почему тебе обязательно в ночь?» — «Ну, надо. Ну, на-а-адо», — канючил я и нетерпеливо перебирал ногами; я знал, что те двое уже ушли... На мое счастье, в многочисленной барацкее семье что-то произошло меж соседями, — обо мне вдруг забыли, — и в разгар вспыхнувшей и громкой ночной ссоры я слабенько пискнул: «Ну ладно, мам, я пошел», — и опрометью кинулся вон. Сначала я бежал. Потом шел быстрым шагом. Тропа была хоженная и всем нам хорошо известная, а пацаны скоро разведут костер, и не на той горе, так на этой я костер, конечно, замечу. Была луна. И мне привиделось, что надо мной в лунных бликах — может быть, следом за мной — летит душа Кольки Мистера. Прежде чем взмыть окончательно в небо, душа некоторое время летела параллельно земле, сопровождая нас к Желтым горам, — почему так некоторое время душе не полетать над землей, подумалось пацану. И вот я бежал и оглядывался на лунный нимб.

Была глубокая ночь, все спали; только старуха бабка (она опять была голодна) бродила по комнате, — она и услышала его последний хрип.

— Детонька моя, — старуха подошла и увидела в полосах лунного света, как он дернулся. Она припала к нему, обняв его холодные высохшие ноги. — Детонька... — И, словно почувствовав, что его здесь удерживают, он выдал этот последний хрип, дернулся тельцем и перешел черту. Старуха бормотала, припав лицом к его ногам, это был комочек ее плоти, и она словно старалась не упустить, не выпустить.

2

Если же говорить о днях за днями и представить себе, кто же они такие и как они выглядят — *любящие нас*, — то каждый может нарисовать себе картинку с сюжетом. Картинка совсем несложная. Нужно только на время уподобиться, например, жар-птице: не сказочной, конечно, жар-птице, а обычной и простенькой жар-птичке из покупных, у которой родители и любящие нас люди выдергивают яркие перья. Они стоят вокруг тебя и выдергивают. Ты топчешься на асфальте, на серой и ровной площадке, а они топчутся тоже и продельывают свое не спеша, — они дергают с некоторым перерывом во времени, как и положено, впрочем, дергать.

По ощущению это напоминает укол — но не острый, не сильный, потому что кожа не протыкается и болевое ощущение возникает вроде бы вовне. Однако прежде чем выдернуть перо, они тянут его, и это больно, и ты гесь напрягаешься и даже делаешь уступчивые шаг-два в их сторону, и перо удерживается на миг, но они тянут и тянут, — и вот пера нет. Они его как-то очень ловко выдергивают. Ты важно поворачиваешь жар-птичью голову, попросту говоря, маленькую, птичью, куриную свою головку, чтобы осердиться, а в эту минуту сзади вновь болевой укол и вновь нет пера, — и теперь ты понимаешь, что любящие стоят *вокруг* тебя, а ты вроде как топчешься в серединке, и вот они тебя общипывают.

— Вы спятили, что ли! — сердито говоришь ты и хочешь возмутиться, как же так — вот, мол, перья были; живые, мол, перья, немного даже красивые, — но штука в том, что к тому времени, когда ты надумал возмущаться, перьев уже маловато, сквозь редкое оперенье дует и чувствуется ветерок, холодит кожу, и оставшиеся перья колышутся на тебе уже как случайные. «Да что же делаете?» — озленно выкрикиваешь ты, потому что сзади вновь кто-то выдернул перышки, сестра или мать. Они не молчат. Они тебе говорят, они объясняют: это перо тебе мешало, пойми, родной, и поверь, оно тебе здорово мешало. А сзади теперь подбираются к твоему хвосту товарищи по работе и верные друзья. Они пристраиваются, прицеливаются, и каждый выжидает свою минуту... Тебе вдруг становится холодно. Достаточно холодно, чтобы оглянуться на этот раз повнимательнее, но когда ты поворачиваешь птичью свою головку, ты видишь свою спину и видишь, что на этот раз ты уже мог бы

не оглядываться: ты гол. Ты стоишь, посиневшая птица в пупырышках, жалкая и нагая, как сама нагота, а они топчутся вокруг и недоуменно переглядываются: экий он голый и как же, мол, это у него в жизни так вышло.

Впрочем, они начинают сочувствовать и даже соревнуются в сочувствии — кто получше, а кто поплше, они уже вроде как выдерживают собственные перья, по одному, по два, и бросают на тебя, как бросают на бедность. Некоторые в азарте пытаются их даже воткнуть тебе в кожу, вставить, но дарованное перо повисает боком, криво, оно крепнится, оно топорщится, и в итоге не торчит, а кое-как лежит на тебе... Они набрасывают на тебя перья, как набрасывают от щедрот, и тебе теперь вроде бы не голо и вроде бы удобно и тепло — все же это лучше, чем ничего, все же сегодня ветрено, а завтра дождь; так и живешь, так и идет время.

Но вот некая глупость ударяет тебя в голову, и ты, издав птичий крик, начинаешь судорожно выбираться из-под этой горы перьев, как выбираются из-под соломы. Ты хочешь быть, как есть, и не понимаешь, почему бы тебе не быть голым, если ты гол. Ты отбегаешь чуть в сторону и, голый, в пупырях, поеживаясь, топчешься, дрожа лапками, а гора перьев, играющая красками и огнями, лежит сама по себе, ты суетишься поодаль, и вот тут они бросаются все на тебя и душат, как душат птицу в пупырях, голую и посиневшую, душат своими руками, не передоверяя этот труд никому; руки их любящие и теплые; ты чувствуешь тепло птичьей своей шеей, и потому у тебя возникает надежда, что душат не всерьез — можно и потерпеть. Конечно, дышать трудно. Конечно, воздуха не хватает. Тебе непременно необходимо вздохнуть. Твоя куриная башка дергается, глаза таращатся, ты делаешь натужное усилие и еще усилие, — вот *наконец* воздух все же попадает в глотку. Но, увы, с другой стороны горла: они, оказывается, оторвали тебе голову.

3

Не заметить, что Регина перепила, было невозможно, потому что она швыряла фужерами в стену, целовалась с хозяйской кошкой и долго потом танцевала, прижимая к груди телефон, — все спотыкались о шнур, а Регина, не замолкая ни на минуту, глупенько и несвойственно для себя хихикала. Заметно и зримо было настолько, что мужчины, когда стали расходиться, не пытались увлечь ее потихоньку с собой, потихоньку увести, потихоньку втиснуть в такси (гони, друг!), а напротив: они громко, возбужденно и не таясь спорили, и каждый чуть ли не кричал, что именно ему Регину отвезти и проводить будет сподручнее. Время было позднее, и все уже предвкушали, как они вывалятся и выйдут после этой духоты на мороз. Женщины тоже нет-нет и озабоченно выкрикивали, что Регину необходимо проводить: «Мальчики, не оставляйте ее!» — и эта фраза особенно помнилась и переповторялась на следующий день в их

говорливой конторе. В общем гаме больше всех в ту возбужденную вечернюю минуту шумел и вздымался сорокалетний мальчик Коля Крымов: «Имей совесть! — кричал он то одному, то другому. — Куда ты ее повезешь, ну куда?.. Ишь, умник. Легкой добычи захотелось?» — так и возникло выражение, типичное для всякой компании, расходящейся далеко за полночь, когда шумят, целуются на прощание с хозяйкой и пускают свой портфель с чужим: *легкая добыча*, и мужчин как бы даже в дрожь бросало от этого пьянящего словосочетания. Высокая, стройная Регина тем временем подходила к спорящим мужчинам, хихикала и обрывала пуговицы пиджака то у одного, то у другого... В женщинах намечалось некоторое недовольство: как водится, гулянка сослуживцев была без мужей и жен, и кто-то уже был или старался быть с кем-то или хотя бы с кем-то числился; мужчины танцевали, чокались полными рюмками, нашептывали — а тут вдруг обнаружилось, что нашептывания забыты и что все они рвутся провожать одинокую Регину. Они словно с ума сошли. Они спятили, они делали вид, что всех остальных женщин они не замечают и даже плохо узнают в лицо.

Аня Авдеева, скривив тонкие губы, подошла к Володику, а Володик, конечно же, звонил спешно жене, нервничая и поглядывая на окруженную мужиками хихикающую Регину: Володик выпрашивал у своей жены время, а может быть, если удастся, и всю ночь. Он торопился. Он говорил с женой бодро. Аня Авдеева послушала немного и с насмешкой сказала:

— Передай привет.

— Да погоди...

— Привет передай. И *детям* тоже.

— Дети уже давно спят... Заткнись, ради бога, — и Володик, приоткрыв трубку, которую он до времени зажимал ладонью, осаживая Аню и шипя на нее, отвернулся — теперь он вновь говорил с женой. Он говорил бодро, улыбался:

— Ты слушаешь, маленькая, я, может статься, до утра погуляю. Гуляем замечательно — так хорошо началось, надо развеяться как следует. Сидим и пьем, как в раю. Как на облаке...

И тут же, цenia золотое время — звонок в звонок, — он уже звонил приятелю:

— Слушай, родной, — я, может статься, к тебе сейчас нагряну. С выпивкой... Тут маленькое лирическое недоразумение: надо нашу сослуживицу на ночь устроить, я вроде как ее опекаю — устроишь нас на ночь?

— ?

— Да ладно, ладно. Объясню, когда приеду...

Бросив трубку и опять же не оглянувшись на Аню Авдееву, Володик зашел в угол, где обступили Регину и где говорили ей наперебой:

— ...Пора домой, Регина... Нет, Региночка, тебе пора домой... Пора ехать. Поверь мне... Я тебя довезу...

Так или примерно так говорил каждый, оттесняя легонько плечом соседа и норовя вырвать инициативу; говорили все разом, а Регина пьяненько хихикала, глупо улыбалась и глупо отвечала:

— Н-не хочу домой, н-не желаю... У меня настроение — н-не хочу!

У Володика был приятель с квартирой. Зато Герман Сергеев был холостяк, а это всегда серьезный соперник, квартира которого, быть может, и неуютна, однако пуста и пребывает в постоянной и ежеминутной боевой готовности. Да и у Толи Тульцева жена и дети были в отъезде по случаю зимних каникул, — выяснилось вдруг, что большой город не так уж плотно заселен и набит людьми и что в тяжелую минуту найдутся комнаты и даже квартиры, разбросанные там и сям и ожидающие среди ночи неустroенных и бедных. Так что было совершенно непонятно и даже необъяснимо, как это Регина исчезла без провожатого, спорили, суетились и даже ссорились, а хватились — ее нет. Это было просто невероятно. Ее хватились, когда уже рассаживались по такси. Замначотдела сел в такси с Лелей и с Вероникой Андреевной, зам поддерживал свою сложную репутацию «человека с деньгами» и потому привычно развозил всех самых далеких — наиболее далеко живущих.

— Вас же только трое! — говорили ему.

— Ну и что?

— Толик! Да вон еще машина... Хватай ее!

Люди объединялись, а потом, на морозе не мешкая, перегруппировывались, вновь спорили, уточняли район поездки, рассаживались, и вот тут Валентина Сергеевна, научный сотрудник и хозяйка квартиры, в которой происходило веселое сборище, спросила:

— А с кем же Регина? — Только тут спохватились — половина народа уже разъехалась — и теперь стали, перебывая друг друга, припоминать: кто-то уверял, что Регина уехала с Володиком, но Герман Сергеев возразил: он видел своими глазами, что Володик уехал с Аней Авдеевой, ей-ей, он, мол, Герман, сам хотел с Аней и потому не упустил ее из виду. Они припоминали и спорили, пока не замерзли: стоял мороз, снег падал крупными легкими хлопьями.

— Кто же уволок Регинку? — шумел неумный и всегда порядочный Коля Крымов, изо рта у него валил пар. — Вот подлец!.. Я узнаю и завтра же на работе ему морду набью. Нет совести у людей!

Отъехала еще машина. Оставшиеся вновь ждали такси и вновь припоминали уже от нечего делать, кто с кем уехал, — час и даже больше не было ни единой машины, теперь они шли редко. Поодаль стоял инвалид, прихрамывающий жилец с третьего этажа, выползший на ночной воздух, потому что его замучила бессонница, этот тихий человек сказал, покуривая, что высокая девушка в меховой шапке (как же они этого не видели!) в полном одиночестве пошла вон туда. И инвалид указал пальцем — она пошла туда, к низенькому зданию детского сада и дальше к той скамейке, а потом по улице вон к тем далеким фонарям. «Одна пошла?» — «Одна». И действительно, на легком снегу, на целине царски-бе-

лого снега виднелись следы шагов, неровные и зыбкие; и все вдруг мигом представили, как шла тут легкой и покачивающейся походкой Регина, счастливая и хихикающая, стройная и пьяненькая. Казалось, что, невидимая, она все еще идет по этому белому снегу. У не успевших уехать мужчин возникло необратимое чувство потери и досады, а хозяйка, Валентина Сергеевна, еще и подсмеялась над ними:

— Эх, мужики, мужики...

Только на следующий день выяснилось, что Регина довольно удачно и в нужном направлении выбралась дворами из группы домов и пыталась проникнуть в закрывшийся уже метрополитен, она хохотала, стучала кулачком, выкрикивала глупости, и потом ее след, увы, потерялся. Она исчезла, словно ушла на луну своей легкой, покачивающейся и пьяненькой походкой. Месяц или два, или даже три ее активно искали, и долго еще на милицейском щите возле этой станции метро, рядом с будкой «Союзпечати», висела ее фотография с текстом: «Исчезла девушка... 26-ти лет, высокая, миловидная, в меховой шапке, на руке часы желтого металла...»

4

Чувство вины было явным — я был по какой-то причине виноват, я понимал, и я как бы даже знал это, а три плосколицых человека сопровождали меня: мы шли степью; мы шли неторопливо; они меня конвоировали. Земля была потрескавшаяся от сухости, с полынью, и когда я приостанавливался (а я делал вид, что я беззаботен, что я уверен в справедливом их отношении ко мне), когда я нагибался, чтобы сорвать кустик полыни, все трое сдерживали шаг и вроде бы тоже приостанавливались. Я насвистывал. Вверху вдруг мелькал жаворонок, и, если бы он пел, мы с ним составили бы пару; я насвистывал, а сопровождавшие меня молчали.

— Свищу, — сказал я, перехватив взгляд узких глаз-щелочек того человека, что шагал справа возле меня, он шагал почти рядом.

— А?

— Свищу, — повторил я с улыбкой. Из троих сопровождавших он мне казался более симпатичным, лицо у него было не столь обветренное; лицо было с юношеским, даже слегка женским, мягким очерком линий. Мне казалось, что если он мне симпатичен, то не исключено, что и я ему симпатичен, а в этом уже могла таиться да и таилась некая моя надежда. Он не ответил. Он ударил плетью по своему мягкому гофрированному, старому, как старая гармошка, сапогу, и обил от скуки пыль. Кузнечик на сапоге был прихвачен ударом и вмиг размазан в пятно.

Перед нашими глазами появилось небольшое восточное глинобитное строение. Среди белесой полыни строение возникло вдруг — одно-одинехонько посреди голой и нежилой степи. Я хотел

пить, но воды не было. Точнее сказать, воды было мало. Старик с реденькой узкой бородкой вынес им плоскую чашку воды — все трое сделали по нескольку глотков, передавая чашку друг другу. Последний (это был тот, что с моложавым лицом), посмотрев на остатки воды, хотел протянуть чашку мне — но, словно спохватившись, сделал еще глоток, допил, — потом, вновь оглянувшись на других (не осудят ли его за доброту), все же протянул к моему лицу. Руки у меня были голые и сухие от ветра, я схватил чашку — там, на дне, с темными соринками и с желтоватыми зернышками пыли, колыхалась капля воды. Я пил до самого дна. Я пил долго, ожидая стекавшие капли. И вот тут, поводя глазом по-над краем чашки, закрывавшей мне лицо, — я увидел мертвого. Я его как-то не заметил, когда мы подошли к строению. Он лежал на песке; старик, присев возле него на корточки, теперь причитал и смотрел мертвому в лицо, а трое моих провожатых лениво готовили умершему могилу. Старик просил их помочь, поторапливал. «Надо хоронить», — говорил старик. И повторял:

— Надо хоронить. — Те трое рыли яму, укладывали вокруг сухие кирпичи-кубики: они делали что-то вроде надгробья, напоминавшего видом большую игрушечную пирамиду, какую от нечего делать строят дети.

Старик вымыл мертвому лицо, пригладил ему виски, теперь в руках старика появилась бритва. Старик вертел ее в руках (она посверкивала на солнце) и громко жаловался копающим, что надо побрить мертвого, но ведь лежащего брить не с руки, неудобно. «Я не умею брить лежащего», — говорил старик.

И спрашивал:

— Может, вы кто умеете?

Он спрашивал их, он приставал к ним; меня он не замечал. Ну что ж, похороны как похороны — я сделал вид, что все идет как идет, и даже попытался дать совет: я, мол, слышал, что у них на Востоке волосы не обязательно брить бритвой, можно выдергивать, и делают, мол, это суровой ниткой: плотно прижимают нитку к лицу и ведут вдоль щеки книзу, накручивая и вырывая волос за волосом. Они как бы не слышали моих слов; они не ответили.

Они велели мне сесть на землю, вытянув ноги, — спина к спине они посадили со мной умершего; его голова разместилась у меня сзади, на шее, безвольная голова, мягкая и одновременно жесткая. Поскольку мы сидели спина к спине, я ничего не видел (я видел только степь), но понимал, что старик будет его в таком сидячем положении брить, — я слышал, как он шуршит помазком в мыльной пене, жалуясь, что воды совсем мало. Потом послышалось, как он скребет по щетине мертвого. И почти тут же я почувствовал холод — холод входил в меня импульсами, он шел от спины мертвого. Если бы не этот холод, сидеть спина к спине мне было бы даже удобно, потому что после долгой дороги я устал и ноги ныли. Но теперь я быстро охлаждался. Волна озноба

вошла вдруг в меня в область правой лопатки так сильно, что я затрясся, и старик строго сказал мне, чтобы я не дергался, иначе он порежет щеку мертвого. Теперь он устроил голову мертвого у меня на плече с левой стороны и, вероятно, закинул ему голову кверху, как это делают все парикмахеры, чтобы добраться до шеи и трудных мест подбородка; теперь я чувствовал левым ухом холодное ухо моего напарника. И тут же раздался первый пробный скрежет в этом новом положении.

Старик брил, а я остывал все больше — сначала остыли плечи, потом вся спина, холод полз по рукам, и только пальцы рук, которые я держал у живота, да выставленные вперед ноги были еще теплыми; вся надежда была теперь на ноги, все еще мои. Но холод входил теперь в низ позвоночника с особой, необратимой силой, и когда медленный скрежет кончился и они оттащили своего мертвеца, — я, остывший, остался сидеть в том же положении, как будто я стал фигуркой из чугуна, холодной и недвижимой. Встать я не мог. Я как бы прирос в сидячем положении к земле, как прирастает к ней все неживое. Они спели короткую молитву. Только старик не пел: он напоследок прихорашивал мертвого, стряхивал пыль с его одежды и обирал траву.

Не прерывая тихого пения, они отволокли мертвого в приготовленный ему закуток из кубиков-кирпичей, пристроили его там и пошли дальше степью, старик и трое, — а я сидел, как сидел.

Они были шагах в двадцати уже, когда старик спросил у них *про меня*, и один из троих ответил:

— На семь восьмых славянин... И на осьмушку, возможно, скиф.

— На осьмушку?

— А может быть, и осьмушки не наберется.

— Маловато, — сказал старик.

И тогда тот, с молодежьим лицом, обернулся на ходу, словно хотел мне, оставшемуся сидеть, крикнуть: «Пока!» — но не крикнул, не сбавляя шага и не останавливаясь, он легко и небрежно швырнул или метнул небольшое копье в мою сторону с двадцати или двадцати пяти шагов, и мое тело издало звук, какой издает раздувшаяся от жары рыба, когда в нее на пробу втыкают нож: попал.

Я, сидевший, стал медленно заваливаться, а засевшее во мне копье в то время как я заваливался постепенно распрямлялось, пока не встало торчком, — копье стояло почти вертикально, а я теперь лежал на земле, придавив полынь. Я был все еще холодный и словно неживой, и, может быть, поэтому я чувствовал, что боль была тупая, и чувствовал все, что со мной происходит. Копье вошло с правой стороны под последним ребром — пробило кожную ткань, проскочило эпителий, протиснулось острием в густую кашеобразную массу печени, а затем, раздирая и легко рвя, отодвинуло витки кишок и вышло вон, насквозь.

На месте разрыва печени чужеродные вещества проникли в кровь и вызвали сепсис — свертывание крови распространялось теперь по сосудам все дальше (напоминая скисание молока, но только ускоренное,

вместо суток двадцать минут), и, когда отключилась вегетатика, легкие застыли в спазме. С этой минуты клетки уже задыхались без углеродистого обмена: они жили уже сами по себе, на внутреннем запасе. Но запас быстро истощался. Процессы прекратились — стоп,— и теперь колесики вновь стронулись с места, но уже в обратном направлении: начался встречный процесс, распад. Аминокислоты перестраивали ряды. Началось дыхание непосредственно воздухом. Клетка вбирала чистый кислород напрямую, шло сгорание, которое почему-то называется гниением, какая глупость. Всякая борьба — это борьба. Надо же было как-то уцелеть и выжить, то есть остаться среди живых, живущих, и потому — и именно потому — аминокислоты торопились перейти, перевоплотиться в траву, в землю, в микроорганизмы, в воздух. Опытные бойцы. Они не упускали и не упустили своего шанса.

Мое лицо утратило тем временем мягкость; рука затяжелела, как полено, в судороге я прижал ее к лицу, словно закрывал светлые материны глаза от ястребов,— степняки уже кружились. Мое «я» разваливалось. В конце концов приходилось выбирать из того, что есть,— мое «я» металось по разлагающемуся телу, норовя хоть куда-нибудь приткнуться, впрочем, выбор был невелик: я почувствовал, что обрел гибкое длинное тело, и если новое мое тело было теперь скользкое и холодное, то не беда, и ведь, повторяю, приходилось выбирать из того, что есть. Я прополз меж ребер того остова, которым я сам был когда-то, мимо развороченной печени и мимо отполированной поверхности древка копы,— я уже обрел некоторую ловкость и вскоре даже привык, как привыкает, скажем, человек, потерявший ногу, привыкает и не скорбит всю дальнейшую жизнь, что ноги у него нет и что она уже не вырастет. Я потерял куда больше, но теперь это не имело значения. Я был червь, я был живое существо, а это уже немало. Я полз лишь для того, чтобы выползти, я обвился вокруг ребра,— и раскачивался, слыша запахи травы и земли. Только недоумки говорят, что червь любит жить в трупе,— он там рождается подчас, это верно, но вскоре он уходит, как всегда и все взрослеющие уходят от того места, где родились. Качнувшись на ребре всем телом, я совершил сброс и упал и вот уже совсем ловко и упруго заскользил по земле: я хотел пить, потому что червь любит влажность.

Солнце было высоко; червь не человек — и потому я сразу же нутром почуял, где тут в степи может быть вода. Я услышал ее, как слышат звук самолета, и двинулся на этот звук. Я полз не слишком долго, потому что я полз правильно. Вода была недалёко: уже за первым же пригорком земля запахла свежо и страстно: вода хотела меня так же, как хотел ее я. Я полз: я вытягивал шею, потом тянул середину и только затем подтягивал низ тела. После долины и песка вдруг появились первые зеленые проблемские травы. Вода была близко. И тут я увидел человека — в нескольких сантиметрах от меня стоял старик, которого я недавно видел в бытность свою человеком, жалкий и оборванный старик,

но только теперь, хотя и в лохмотьях, он не был жалким. Он был огромен. Он перекрыл собою путь к воде. Он спросил:

— Ползешь? — И рядом я увидел подошвы его ног, его старые стоптанные сапоги. Они были как огромные столбы. Он ступил, и как глыбой придавило сапогом половину моего тела, и, конечно же, вмиг расплющило бы меня, если б он захотел. Я извивался, — сапог, чуть придавливая, увеличивал боль, и я уже боялся разорваться от переполняющего меня давления моей же внутренней жидкости.

— Ну? — был его первый вопрос. — Грешил?

Я хотел ответить: «Сам, мол, все знаешь — зачем же спрашиваешь?» — но голоса у меня не было, я даже пискнуть не мог; я только заизвивался сильнее и подобострастнее.

Он (там, наверху), вероятно, покачал головой.

— Грешите, — проговорил он с упрёком, — землю всю поганите.

Я вновь заизвивался, телодвижениями отвечая — я, мол, как все. Я как все, и какой же с меня спрос.

— А почему же жить хочешь?

— Все ведь хотят.

— Опять все... Мало ли чего хотят все. — Старик передразнил, повторил мою (в переводе на язык) извивающуюся интонацию. — Ты-то почему хочешь жить?

Он прижал меня жестче и грубее; я совсем помутился, вздулся и вот-вот мог, разорвавшись, растечься.

— Что в своей жизни ты делал — рассказывай.

Как ни стыдно сознаться, я стал лепетать (извивами вздувшегося тела), лепетать о каких-то своих достоинствах. Тут обнаружилось удивительное: так легко говорить о своих прорехах, так просто перечислять скользкие или поганенькие поступки, сделанные хоть год, хоть десять лет назад (в припоминании есть даже своя покаянная сладость), однако, когда я попытался сказать, чем я хорош, это оказалось непосильно, это звучало жалко, пожалуй, нелепо и уж точно неуместно.

Я заизвивался вновь, — не зная, что вспомнить и что сказать, я стал лепетать, что я, мол, не умею себя хвалить. У нас, мол, принято, чтобы хвалили другие.

— Другие?

— Да.

— И как же они хвалят?

— Ну как. Я сделаю ему что-нибудь полезное, хорошее, доброе, — он меня похвалит. Надо сделать человеку что-то полезное.

— Хорошо живете, — фыркнул старик.

Сапог, придавливающий меня, ослабел. Все тело мое заныло; я пополз, волоча за собой нижнюю половину, которая была все еще в шоке и тянулась за мной как неживая. Старик произнес сверху:

— Ладно, поживи, даю отсрочку.

Солнце грело, вода была недалеко; я настолько обрадовался возможности жить дальше, что осмелел. Я спросил, за что он дает мне отсрочку, хотелось бы знать. Я повторил движением тела:

— За что?

И он сказал за что. Он и без меня все знал: сразу и легко прочитав мою жизнь, он назвал некую, на мой взгляд, безделицу, пустяк — я замер в шоке, как и мое тело; я никак не мог осмыслить: то, что он назвал, не было ни достоинством, ни хорошим поступком, скорее всего это было, пожалуй, моей слабостью.

— Но ведь это есть у многих,— обескураженно пискнул мой голосок.

Он сказал:

— А я многим даю отсрочку.

И тут он добавил еще три слова:

— Много извиваешься, червь,— и пнул меня ногой, чтобы больше не видеть. Удар был сильный, но, по-видимому, достаточно рассчитанный и не без крохи гуманности: тело не лопнуло, оно спружинило, я взлетел в воздух,— и вот, перелетя через пригорок, шлепнулся я в какую-то канаву с водой, к которой я давно и долго полз, алчный, по запаху.

5

Кто и когда изобрел барабан, историей не зафиксировано,— это столь же в прошлом, как и, к примеру, колесо. Колесо мерит расстояние и пространство, барабан мерит секунды и время.

Имя не сохранилось, однако все же известно, что жил в палеолитные времена некий дикарь, обыкновенный, косматый, кутавшийся, как и прочие, в звериную шкуру,— был он даже для тех времен отъявленный бездельник; был он, впрочем,мышлен и ловок. Кругом громоздились, как и положено им громоздиться, голые камни, а вокруг пещер в неисчислимом количестве бродили звери; от голода звери выли ночи и дни напролет. Это было суровое время, звери тогда размножались бурно, и еды им не хватало. Людей звери тогда, в общем, жалели и старались не есть, потому что людей было мало и истребить их ничего не стоило. Люди могли попросту сойти на нет.

«Разве это жизнь?.. О господи! — вздыхали там и тут люди в своих жутких пещерах.— Разве это жизнь?» Люди, как и всегда, считали, что жить тяжело, что жизнь — это сплошное страдание, и без конца жаловались друг другу; они очень любили жаловаться. Тем более бывало мучительно и тяжело на душе, если среди племени оказывался вдруг бездельник или, как они говорили, тунеядец, человек, евший втуне. Он был ленив, он был откровенно ленив; бездельник даже жен своих не кормил или почти не кормил, хотя был молод и крепок,— от жен он избавлялся. Он заставлял жен плясать напоказ голыми в будние дни, после

чего обменивал их на оружие или на филейную часть мамонта. В конце концов он обменял их всех; он остался с одной-единственной женой. Он жил с ней в пещере, сплошь заваленной красивыми копьями и мечами. Он был первый, кто стал открыто жить с одной женщиной. Все племя ему втайне завидовало. И, конечно же, вслух все его осуждали, и не только потому, что прокормить одну жену легче легкого: дело еще и в принципе, человеком он считался нехорошим и аморальным. Плюс к этому всему он был болтлив и как всякий бездельник нет-нет и проговаривался, что он-де много умен и что он-де умнее даже старых своих сородичей. Его предупреждали и по-доброму и более круто, однако унять не могли. Его, в общем, оберегали из гуманности; некоторые его любили и жалели. Но однажды он произнес неслыханное, и тут уже ничего нельзя было поделаться: он сказал, что умрет *достойнее* их всех, достойнее старых родичей, достойнее даже вождя племени.

Смерть в те времена считалась событием ответственным, смерти придавалось значение и придавался смысл, и было, например, необыкновенно важно, кто и как умер. Смеялся ли человек, умирая, важничал ли. Или же плакал, как плачут женщины. Тут были важные сказанные перед смертью слова и даже их оттенки: событие есть событие. И потому стало и нехорошо, и неловко, и даже жутко, когда бездельник произнес вслух:

— Я умру достойнее вождя племени.

Племя было шокировано. Вождь на эти его слова ответил кратко:

— Ты умрешь завтра.

Бездельник схватился за губы, зажал себе рот, но было поздно. За шалопая вступились дядьки, братья, отцы; отцов в те времена было несколько, — однако вождь был тверд и неумолим. Авторитет всегда авторитет, и порядок всегда порядок: не наказывая человека за безответственные шуточки и выходки, ты в первую очередь развращаешь и портишь его самого. И других тоже. И себя, кстати, тоже портишь. К тому же вождь племени слегка опасался, что шалопай после своих слов и впрямь как-нибудь случайно умрет с достоинством — кто его знает! — людишки же прибавят, приврут, вот тебе и легенда.

— Он умрет завтра, — подтвердил вождь племени родичам, пришедшим просить о помиловании. И добавил: — На закате.

Приговоренные к смерти в те времена прыгали с обрыва на камни. Разбившись, они лежали там с множественными переломами и в течение двух-трех суток кончались, исходя криками, и ни о каком достоинстве, разумеется, речи там быть не могло. Кара была суровая именно потому, что смерть страшна не сама по себе: смерти дикари, в общем, не боялись, они боялись предсмертных мук и страданий.

Выхода не было — шалопай сидел ночь напролет, не спал и старался придумать последнюю шутку в своей жизни и последнюю уловку, чтобы как-то облегчить конец. Он бы, возможно, ничего не придумал, если бы не услышал *голос* свыше; ему повезло. Была луна. Воздушное простран-

ство вдруг как бы расширилось, минута сделалась огромной, значительной, и на душе приговоренного стало легко и освобожденно. «Бог, ты услышал меня. Бог, ты услышал меня!» — со слезами на глазах, ликуя, закричал суеверный дикарь, простирая руки к луне и к застывшим вокруг луны небольшим облакам. Он придумал.

Мысль внешне была проста.

Среди ночи он повел свою единственную жену под обрыв и указал ей место, куда он будет прыгать. Стояла полная луна, небо было высокое. На земле были различимы отдельные камешки. «Сюда, милая, — он указал на бугорок земли, поросший высоким папоротником, — укрепи обломок копья на закате». «Но меня заметят и прогонят». «Не заметят», — и он улыбнулся.

Весь следующий день приговоренный бегал по своим дядькам, братьям и отцам с последней просьбой — он просил, чтобы родичи к закату явились на обрыв с плоскими дощечками и тазами и чтобы колотили в них мерно и ровно, когда он будет идти на смерть. Родичи не отказали. Родичи обещали выполнить. Они немного погоревали и немного посочувствовали, как-никак у человека не каждый день смерть. Они спросили: «Для чего эти дощечки?» — а он, забывшись и как всегда немножко важничая, ответил: «Это я придумал, чтобы умирать было не больно». «Помогает разве?» «Конечно!» А день уже клонился к закату.

Закат; это был ярко-алый, а потом багровый закат. Племя разбросанными группками собралось вблизи обрыва, они сидели на корточках на земле, они смотрели, они колотили в дощечки, — дикарь шел своими последними шагами к краю обрыва, и впервые в истории человечества гремел барабанный бой. Дикарь не спешил. Дикарь шел медленно. Барабанный бой был, разумеется, как все оригинальное, несовершенно — родичи колотили кто во что, сбиваясь с ритма и мешая друг другу; начало как начало. Уши и глаза всех собравшихся были отвлечены или, правильнее сказать, привлечены этим дурацким грохотом и этим нелепо горделивым шагом выдумщика. Жена тем временем под обрывом укрепила среди папоротников небольшой обломок копья. Дикарь прыгнул точно. Умер быстро. Он едва успел выкрикнуть с ликованием: «Совсем не больно!» — а солнце уже село за горизонт, для того он и шел к обрыву столь медленно. Стемнело. Стихли крикливые птицы. Жена, теперь уже вдова, извлекла копье и незаметно вернулась в пещеру, чтобы обман не раскрылся и чтобы ее не наказали, — так у них было условлено.

Все удивлялись, племя было не на шутку взволновано: обычно крики умирающих слышались ночь и день и еще ночь. Утром вождь племени преодолел одышку и самолично спустился под обрыв посмотреть, так как в племени от мала до велика уже шептались, что смерть была легка, мужественна и что на лице умершего улыбка, а оскала зубов нет.

Через год, а может быть, через три (число лет история тут тоже не зафиксировала), а может быть, через десять, пришел час умирать вождю племени, — в этот час, лежа в постели и тяжело страдая, он объявил,

чтобы люди племени вновь собрались с плоскими дощечками и натянутыми для просушки шкурами животных. И чтобы, как и в тот раз, колотили в них палками. А он, умирающий от старых ран вождь племени, будет лежать и слушать их и испускать дух. Такова его воля. «О вождь,— сказали ему старейшины,— ты тем самым напомнишь людям племени о том шалопae. Получится, что ты его почтил».

— Ну так что же. Он был неглуп. Все это знают.

— Но ведь плагиат. Получится, что он действительно умер достойнее тебя.

— Я не тщеславен,— сурово ответил вождь племени,— я могу быть и вторым.— Он стиснул зубы от боли и на миг прикрыл тяжелые веки.— Я не тщеславен. А рокот ударов так ласкает ухо. В рокоте есть что-то сладостное...

Вождь племени был человеком мужественным, однако и он хотел умереть легко; он не хотел страданий и боли, и это не осталось секретом; люди припомнили это и оценили, как и положено им припоминать и оценивать. Следующий вождь тоже пожелал умирать под барабан. Потом этого захотели видные старики. Потом, как всякое благо, это вошло и распространилось вширь: одними из первых этого захотели осужденные на смерть, в последней просьбе которым племя отказать никак не могло,— умирание под барабанный бой становилось привычным. Все шло своим путем: умирал человек, рождалась традиция.

У мусульман барабан заимствовали рыцари во времена крестовых походов — он проник в Европу с Востока. В России барабан появился при Иване III, накануне Ивана Грозного.

Со временем барабан терял и продолжает терять сейчас свою трагическую окраску, почти повсеместно осужденные на смерть уже перестали слышать его. Идущие в атаку некоторое время еще поддерживали свой дух рокотом последних и тревожных минут. Но и это постепенно сошло на нет.

Барабан вошел в состав оркестра, он так и звался — турецким барабаном, впрочем, роль его всегда была незначительна и строго определена. Сейчас барабан процветает в ансамблях в совершенно новом качестве — в разболтанных кистях молодцеватого ударника.

Ну и у детей, конечно. Дети любят барабан.

Лето было жаркое, мальчишка пребывал в пионерском лагере, — и однажды неясным каким-то образом он отстал от растянувшейся по лесу цепочки детей. И заблудился. При этом он унес единственный барабан пионерской дружины.

Он бродил по лесу — пацан как пацан, — шел себе и шел по узкой и смутной лесной тропинке. Лес был замечательный, в таком огромном

лесу да еще и в одиночестве мальчишка был впервые. Он испытал восторг среди этих огромных деревьев, он даже несколько раз вскрикнул; с ним случилось что-то вроде видения отрока, хотя самого видения не было.

— Я как бы услышал голос природы, голос леса,— рассказывал он после, уже будучи взрослым.

У этой истории был свой забавный финал.

Барабанщик как-никак фигура в отряде заметная,— отбившийся и отставший, он блуждал по лесу часа два и еле-еле наконец добрался до своих, когда детвора уже вовсю резвилась на пляже. Солнце пекло. После пляжа был немедленно созван совет дружины. Вожатые, перенервничав, были настроены неумолимо — они не верили, что он заблудился: они сочли, что это неудавшийся побег домой. И лишили его звания барабанщика.

Характерно, что в этом же отряде был некий мальчик, по имени Толик,— мальчик с обостренным чувством справедливости. Он уже в детстве различал ту или иную степень проступка; более того, он уже тогда умел дифференцировать промахи и уже тогда догадывался, какая мера наказания в том или ином случае проступку соответствует. Не всякий вожатый знал такое.

Он поднял руку и выступил так:

— Из пионеров его исключать, пожалуй, не надо.— И добавил: — Но из барабанщиков его исключить необходимо. Он не имеет права носить наш барабан.

6

А рассказ начинался так — две девчонки, молодые женщины, шли, как они говорили, на хату к парням; вечер намечался в узком и как бы классическом плане: два на два в отдельной квартире. В повестях и рассказах тех лет такая сцена бывала вроде как обязательной; такая сцена манила. Такую сцену ждали заранее и провидели ее издали и загодя, как провидят приближение поезда, который появился и мелькнул внизу, в долине и вот-вот возникнет вновь из-за горы. Была и причина ожидания: в те времена свободные отдельные квартиры появлялись на страницах повестей, как и в быту, впервые, и, скажем, Бахтин назвал бы это изумлением хронотопа прозы. Пустовавшая по той или иной причине чья-то квартира стала доступным и вполне возможным местом действия; это не пришло вдруг, и тут была своя постепенность. Квартира появлялась и оправданно и случайно: родители, к примеру, уехали в отпуск. Потом свободнее и шире: к примеру, квартира приятеля или старшего брата, который, швырнув звонкую связку ключей, уехал на год-два тянуть газопровод в Индии. Потом пояснений уже не требовалось: просто квартира без хозяина, зато с холодильником и с магнитофоном, а ка-

ким образом она опустела и стала местом действия, оправдывать уже не приходилось — мало ли как. Читатель уже верил. Дело стало обычным.

В общем, они ехали «на хату»; звали их Женька и Валька, а ехали они к Сережке и Кольке. Более миловидная Женька ехала к ним впервые и потому интересовалась:

— ...Значит, Сережка кто — студент? А Колька постарше?

Валька отвечала, что нет — все, мол, мы примерно одногодки.

— А то я раз была в стариковской компании, — ничего были, вежливые, лет по пятьдесят. Но на морду, конечно, крокодилы... Я так испугалась, что не стала вторую рюмку пить, — и тут Женька захихикала, — а то бывает какой-то допинг в вино незаметно вливают.

— Допинг? Что это?

— Не знаю. Что-то такое.

— А-а.

В троллейбусе, в тесноте и давке к ним пристал пьяный. Гордая Женька выставила локти вперед и молчала, смотрела уничтожающе, а Валька, понимавшая мир проще, замахнулась на него сумочкой и крикнула: «Ну ты! Подрости сначала. Метр с кепкой!» — Из троллейбуса они выскочили повеселевшие и смутно приготовившиеся к началу начал.

Они пришли. Они познакомились. Девушек ждали. Музыка ревела всюю.

Они сели за стол, и Валька сказала:

— Да сделай же потише. Ни слова не слышно!

Далее рассказ двигался по канонам жанра: деться тут было некуда, фабульный костерок поддерживался тем, что девчонкам Сережка показался и нравился куда больше, чем Колька. Или наоборот, разность имен неважна, да я и не помню. Словом, обе нацелились на одного и даже слегка поссорились. А время шло к ночи: они танцевали то так, то этак попарно, томясь и нервничая и никак не желая в итоге оказаться с малосимпатичным внешне Колькой.

Однако смирились. Страсти выбора поулеглись; в рамках квартиры и всего лишь двух парней девицам некуда было деться, как и мне в рамках рассказа: они поладили. Валька, как более знакомая и более здесь своя, выбрала Сережку; Женька ограничилась Колькой. Женька решила, что лето длинное и как-нибудь на химкинском пляже она еще отвоюет себе смазливового мальчика — переиграет; а пока пусть идет как идет. Она тут же эту свою мысль забыла: дело шло к ночи, музыка и вино расслабляли, и мысль была из разряда самоутешающих: самообман на время. Диалогов и всей психологической игры уже не помню и потому сразу перескочу к той минуте, когда парочки разбрелись по разным комнатам и погасили свет. Впрочем, небольшая сценка колорита ради: Женька, считавшая, что заслуживает лучшей участи, чем ушастый Колька, дулась, а парни как раз плохо отзывались о ее любимом актере Баталове.

— ...Что вы смыслите в мужчинах? — заорала она вдруг на них. — Он интеллигент. А вы хамы!

— Тише, тише!

— Вы тупицы и хамы. Слюнтая... Чего посмеиваетесь — чего? — она вышибла из рук предназначавшегося ей ушатого Кольки сигарету: — Хамы... А ты, Валька, не подруга, а сводня!

Она вырвалась из объятий Кольки — легко вскочила на подоконник, сначала на стул, потом на подоконник. Они и глазом не успели моргнуть. Она прыгнула в темноту распахнутого окна, локтем она задела створку, стекло с грохотом посыпалось, частью сюда, а крупными осколками за окно. Все кинулись следом — к окну. В кустах, в темноте она что-то выкрикивала гневное. «Перепила», — сказал Сережка.

— Совсем спятила. Хорошо, что первый этаж, — заметил ушастый Колька.

— Дура, дура! — кричала Валька. А Сережка-студент отер со лба пот: он вспомнил, что квартира чужая и что на шум могут запросто примчаться соседи, никого из ночных пришельцев не знающие. Тем не менее Сережка вместе со всеми продолжал хохотать — сели за стол, смеялись и опорожняли рюмки; рюмки, конечно, тоже были чужие, об этом тоже Сережка на миг вспомнил. Вскоре Женька явилась. Она была слегка оцарапана и слегка все еще дулась; ей дали штрафную рюмку. Теперь «вечерушка на хате» потекла ровнее, как выравнивается всякий процесс после некоторого необязательного всплеска; в конце самоопределившиеся парочки оказались в разных комнатах. И свет был погашен. Только на кухне горел свет.

Валька и Сережка вдвоем:

— Но-но, хватит! — отталкивала его Валька. Они устроились на тахте. Сережка (если я правильно помню) упрекал Вальку, что она, стало быть, его не любит или же недостаточно любит. Он выдавал потоком этакое юношески-напористое, чистое, наивное блеяние, он не закрывал рта. Валька высвободилась. Валька оттолкнула его решительнее; ощущение ночи и темноты придало отталкиванию подчеркнутый смысл не отсрочки, а отказа; Сережка набрался смелости и спросил: «Ты что — девушка?» Валька заплакала. Она всхлипывала и теперь рассказывала, *какая* у нее в жизни была любовь. Большая любовь. Необыкновенная. Она и тот человек любили друг друга; они жили, как живут муж и жена, потому что подали уже заявление. И за неделю до свадьбы он погиб. Он был летчик-испытатель.

— Не плачь, — со вздохом произнес Сережка и погладил ее; рука его теперь была мягкая, он ее успокаивал. Они опять лежали рядом, опять прижавшись, и Сережка опять склонял ее к мысли полюбить его, возник новый оттенок: он советовал постараться забыть того, первого — что поделаешь, погиб, значит, погиб.

Женька и Колька были в другой комнате; тоже в темноте; тоже на каком-то ложе. Там, разумеется, происходило нечто похожее, но было

и свое: ночь неожиданно пробудила в Женьке нежность. «Зацелую тебя», — говорила, шептала она и предпочитала сама целовать ушастого Кольку. Колька был полон агрессивных намерений, но Женька своими поцелуями его сковывала и держала слишком лирическую и, на его, Колькин, взгляд, слишком затянущую ноту. Сердце Женьки (она много дней скучала) исходило нежностью, она никак не могла нацеловаться досыта. «Да дай же я поцелую тебя!» — чуть не вскрикнул Колька и потянулся к ней, тут произошла короткая бессловесная стычка — и вот Женька уже строгим и холодноватым голосом отчитывала его и объясняла, что она не хочет так быстро, что девушку надо уважать и не надо торопить и что они оба будут после стыдиться, если сейчас поспешат. Колька тер зацелованный лоб и никак не мог уразуметь, чего он будет после стыдиться. Он попросту не поверил Женьке. Он подумал и спросил: «Ты девушка, да?» Женька немного помолчала, коснулась его щеки пальцами и тихо заговорила:

— У меня была большая любовь, Коля. Мы должны были пожениться. Но он вдруг погиб за неделю до свадьбы — он был летчик-испытатель, ты же слышал, что это за профессия.

Колька молчал. Она продолжала касаться его щеки пальцами:

— ...Теперь ты понимаешь, Коля, почему я не могу спешить. Я обоглась один раз в жизни. Я теперь всего боюсь.

— Понимаю. Я очень понимаю. — Колька опять приник к ней и опять стал уговаривать: в конце концов погиб — это погиб, это случайность, и нельзя же останавливаться на полпути. Оттуда возврата, насколько он, Николай, понимает, нет...

Ночь шла. Рассказ все более наполнялся ночными негромкими разговорами двух парочек. Собственно, эти разговоры и составляли суть рассказа: я метил в сторону, незлобивого подтрунивая над юностью и любовной игрой, имея в виду определенный переключаящийся параллелизм их ночного шепота — обе пары нет-нет и вновь шептались о летчике-испытателе, который с некоего момента стал незримо здесь, в темных комнатах, присутствовать. Молодые женщины рассказывали, как каждая из них познакомилась с летчиком. И как он провожал, и как первое время она считала, что это — очередное знакомство, не более того. И как он сразу же (или не сразу), придя в дом, понравился маме.

— Он пришел с цветами и с шампанским, — говорила Валька.

— Он пришел усталый-усталый. Только что из полета, — говорила Женька.

Переноса из отдельных ударных репликах читателя из одной темноты комнаты в другую — и, не затягивая, вскоре же назад, — я добивался посильного эффекта, однако повествование вдруг двинулось в иную и неожиданную для меня сторону. Дело в том, что у каждой из двух молодых женщин рассказ о летчике обрстал глубоко личными подробностями: началось с простенькой лжи, но теперь уже была не ложь или не только ложь. Каждая из них вполне независимо от другой рисовала

свой образ любви, свой отход и свое отшатывание от киношного стереотипа, короче: свою любовь, какую она *хотела бы*. У одной летчик был высокий, смешливый и, пожалуй, драчун на улицах. Он не мог пить спиртное как профессионал летчик и очень мило врал: «Нет-нет. Не могу... Я вчера дико напился. Не уговаривайте меня, ребята, — ВВС свою норму знает». У другой летчик был интеллигентен, насмешлив, беспечен и пил, если хотелось. Он был испытатель, а не пассажирский летчик, в конце концов, если считать головы, он рисковал только собой.

Парни вышли на кухню перекурить; они оставили дам в темноте в полуразобранном состоянии, они вежливо позвали их выпить и подкрепиться, но те отказались. И вот парни стояли на кухне, шурясь от света. Покурили. Нет, сначала выпили, потом закурили, и Сережка негромко спросил: ну как?

— Никак, — ответил Колька.

— Но все-таки получается, как думаешь?

— Думаю — да. Дело нескорое... А у тебя?

— То же самое.

Помолчали, Сережка, словно извиняя подругу за нерешительность и некоторую несовременность, сказал: оно бы и просто, да вот память ей мешает, память о первом мужике; он кратенько выложил приятелю рассказ о летчике-испытателе. Колька присвистнул:

— Ну дает летчик! И когда это он успел обеих?

— И у твоей летчик?

— Сказать по совести, это у меня уже шестая девчонка, которая оставляет меня с носом, — и все из-за летчика-испытателя. По-моему, он пол-Москвы обработал, и ведь какой шустрик — со всеми подавал заявление в загс.

— Да врут они обе. Хоть бы меж собой заранее договаривались...

— Может, и не врут; может, это твоя врет — моя очень даже похоже рассказывает.

— Моя тоже. Как книжку читает!

Убыли не случилось; покурив, парни вновь разошлись по комнатам, и вновь рассказы, и в глазах у рассказчиц были слезы, и в словах их огня не убавилось. Речь не о шуточном — речь шла о жизни, какую молодые женщины для себя хотели и какую они, намечтав, вдруг кинулись рисовать; они творили; повесть о первой любви, быть может, технически и несложная, однако это жанр, требующий большой отдачи. Женька вдруг разрыдалась, поясняя, как летчик-испытатель первый раз взял ее на руки и понес сначала к окну, за которым падал пух снега. Она рыдала, она взяла у Кольки сигарету и жгла себе ладонь. Колька онемел. Он не знал, что говорить и что делать, — он только машинально стискивал ей плечо и просил: успокойся, да ладно тебе об этом, погиб и погиб... В другой темной комнате Валька тоже всхлипывала... Она повторяла:

— Он был такой... такой... — Она хотела сказать «такой прекрасный», но книжное слово не шло, не втискивалось в прозу обычной

и честной пьянки два на два в чужой отдельной квартире с чужими даже рюмками.

Рассказ этим был, в сущности, вычерпан, виднелось дно, и забота была теперь лишь о том, чем кончить и завершить; именно в силу полной высказанности и вычерпанности конец мог быть более-менее произвольным. Проще всего было дать финал, не выходящий из скромной объемности «вечерушки» как жанра, — ребята взяли свое, разошлись; утром усталые, подурневшие Валька и Женька торопливо пудрятя, подкрашиваются и бегут на службу в контору, где трудятся бок о бок; в самом же конце рабочего дня Валька говорит:

— Позвонил только что Андрей Шумилкин — помнишь его? — в гости зовет. — Они не знали, пойдут ли, но уже начали подкрашиваться к вечеру: наводили теперь уже вечернюю красоту. И даже слышался голос критика К.: «Среди этих, казалось бы, несчастливых, не самой высокой морали молодых женщин автор сумел найти живинку, сумел отделить золотые крупницы их сердца — и это заставляет нас, читателей, поверить в Вальку и Женьку, в дальнейшую их судьбу». Однако если уж о торных путях, то можно было дать финал пообрывистее и посовременнее. Является, к примеру, среди ночи хозяин квартиры, и вся четверка вынуждена спешно уйти, недовняяснив отношений. Они уходят, идут по пустой улице — и фонари на пустых ночных улицах стоят, как стоят они на краю земли. Две-три мрачных, заигрывающих с вечностью фразы, последний выхлоп элегической ноты — рассказ готов.

Старуха, убившая во мне этот рассказ, жила в нашем доме, более того — в нашем подъезде. Удивительно горделивая была и надменная старуха, держалась она заносчиво — сын ее «как-никак работал у Туполева, как-никак имел черную «Волгу». Бывают же такие сыны и такие дождавшиеся сыновнего счастья старухи.

Брат старухи, насколько я помню, был фигурой поскромнее, но тоже птица и тоже по заграницам торчал. Престижным с пеленок было и младшее поколение: однажды старуха велела всем нам — соседям — смотреть в девять тридцать по четвертой программе телевизор: в известном московском детском ансамбле выступал ее внук, примета была простая — внучек танцевал в паре с самой высокой девочкой. Это было во вторник. Внучек действительно танцевал неплохо, а вместе с высокой девочкой они составили лучшую пару; впрочем, пара в украинских костюмах тоже была на высоте, а многим из нас понравилась даже больше.

В среду — на другой день после выступления ансамбля — старухе сделалось плохо. Разом и вдруг произошло расслабление ее горделивого мозга, и в первые часы всполошившиеся соседи не знали, что и подумать. Расслабление мозга — болезнь из заметных, у людей горделивых она заметна вдвойне: после выступления внука старуха сама стала плясать. Она выходила на лестничную клетку, пела фальцетом: «А я красоточка. Т-танцую т-только вальс...» — и притопывала разношенными,

но все еще красивыми шлепанцами. Потом всю ночь она кричала и стонала. К утру стало ясно, что плясунью совершенно необходимо поместить в больницу, желательно в хорошую, желательно поближе к берегам и соснам, — тут-то и выяснилось, что старуха одинока как перст указующий. И всю жизнь была одинока. Ни брата, ни сына-туполевца, ни тем более внуков у нее никогда не было и нет. Через две недели в некоей больнице на окраине города, куда ее отвезла «Скорая», старуха отправилась в лучший мир в полном одиночестве, как и жила. Совпадение уничтожило рассказ. Вдруг выпятившаяся для меня человечья черта присочинения теперь проломила, как проламывается под ногами прорубь, — на миг я увидел под ногами глубину, если не бездну, и невозможно стало и совестно рассуждать о девицах, сочиняющих про первую любовь: старуха сочиняла лучше. До сих пор мне слышится ее *голос*, голос вполне земной.

— Да-а, — говорила старуха манерно и жестко, — сынок мой, конечно, человек занятой, но уж этим летом я к нему на дачу нагряну. Ничего-ничего. Пусть невестушка потерпит старую свекруху. — И добавляла: — Не такая уж я стерва.

7

Если старухи сопровождали меня в течение всей моей жизни, появляясь там и здесь в облике людей малопрятных, в облике морализирующих судей, то старики как-то все вроде прятались. Я их видел, встречал, конечно, но как-то стороной. Не на главной дороге. Рассеянные в мелких встречах по жизни, в автобусах и в очередях, старики не запомнились мне, как запомнились властные старые или пожилые женщины, каждая из которых словно бы пыталась наложить на меня матерый отгиск, как налагают отгиск опыт и быт. Жизнь шла, колея менялась, но на смену одной властной старухе тут же и немедленно вставала другая. Они были похожи на окликающих часовых вдоль долгой дороги; так уж мне повезло. Стариков не было.

Но зато как бы в виде предварительной компенсации однажды я увидел и узнал целую группу стариков разом. Похоже было, что они, не попадавшиеся мне в дальнейшей жизни, собрались равновесия ради все заодно, чтобы я не почувствовал изъяна и ощутил цельность людскую, как она есть. Было это в бане. И старики, конечно же, меньше всего думали обо мне и о моем дальнейшем равновесии, потому что думали о себе, о мочалках, о шайках — и о пиве после. Мне было лет двадцать. Баня же была поселковая, древняя. Шагах в шести мылись, не больше. — и всю группу стариков, не выделяя поначалу никого, я воспринимал как одно целое. Я видел их одинаково обвисшие детородные органы, давно отслужившие; они обвисли и оттянулись *к земле* — в самом последнем и конечном нашем направлении, покачиваясь, как покачиваются кисеты с махоркой, бывшие тогда в поселке все еще в моде. Соче-

тание обвислости с улыбающимися лицами стариков, с их выцветшими детскими глазами, которые уже не только не совестились какой-то там обвислости, но, вероятно, попросту забыли о ней, было удивительно и отдавало великим, неслыханным счастьем: дожили наконец и ведь не умерли. «Туда не пойдем — там скамьи стылые!» — засмеялся один из них.

Их было семь человек — как некая гроздь, они рассредоточились по краю одной и другой скамьи: трое и четверо напротив. Я не понимал, что меня волнует: старики, возможно, в своей совокупности представляли для меня варианты моей старости: буду ли я таким стариком? или таким? — и в конце концов я остановился на двух, которые были примерно моего роста. Мне показалось, что рост — это важно для прикидки; нутро мое топорщилось и сопротивлялось, но хорошо помню, что на всякий случай я смирился: ладно, я буду вот таким... У нас говорили, что увидеть и поразиться группе стариков — это к долголетию. И с самым откровенным эгоизмом по отношению к прочим людям меня, двадцатилетнего, вдруг обдало и обрадовало, что я буду долго жить; самосохранение в бане.

Эмоционально в моей памяти означился тогда и выделился лишь один старик. Благообразные, с детским пухом на голове старички еще только разделись и входили в банный зал, и вот когда они вяло шлепали ступнями по полу и посмеивались, один из них вдруг оглянулся на меня, что ли, или же на горбуна-гардеробщика, и яростно проговорил: «Зар-разы!» — мрачный и озлобленный взгляд никак не увязывался с благостью и детскостью всей остальной группы. И сейчас еще вижу, как он идет, голый, свесивший вдоль тела руки, как вдруг оглядывается, как вдруг надуваются жилы на его шее и вырывается это жуткое и неожиданное «Зар-разы!» — он рывкнул, и один из пареньков, стоявших вблизи, выронил ком одежды, которую запихивал в маленький банный ящик.

В бане я к старику пригляделся — здесь он был таким же, как и все они, благообразным и безликим; он сидел ближе всех ко мне и степенно мылил голову, пах, худые руки и совсем уж худые, скелетообразные ноги. Он был росл, и я счел его за один из возможных вариантов моей будущей старости. И именно этот старик связался в моей памяти с другим человеком — с Савелием Грушковым, который перед самым отбытием на небо вдруг тоже озлобился и всем живым прочил ад. И каким же образом, почему в одном из ста случаев, в одном, может быть, из ста стариков вспыхивает перед концом злое и личностное, в то время как девяносто девять старцев аккуратно уходят в благость и в детство, и их уже не раздражают ни болезни, ни умершая плоть, ни суетливые родичи, достойные ада, ни вдруг пробудившееся желание много и впрок есть, жевать, набивать утробу, как это бывает у детей. Нет-нет, подумал я тогда же в бане, в инстинктивном и молодом страхе подбирая себе

возможную старость, вид старости,— только не быть таким, как он, *таким быть, наверное, мучительно*; нет-нет, надо отходить *туда*, срачиваясь и сливаясь воедино со всеми стариками, надо с девяносто девятью отходить вместе и спокойно, надо отходить, как отходят в траву, в небо, в землю, медленно растворяясь и теряя свое «я» во всех и во всем.

Они стали разбиваться на пары, чтобы тереть спину, — и вдруг отделились от меня на бесконечное расстояние, хотя были в тех же шести шагах. В бане становилось гулко. Гул в ушах где-то бегущей воды, а к вискам прилила кровь, глаза затмило, и я почувствовал свое распавшееся молодое тело, как чувствуют его перед близостью с женщиной. Тут старики и отделились. Мигом и разом они улетели от меня на космическое расстояние, я был щедр, я был переполнен, я был живой, а они нет. Не шесть шагов в пространстве была дистанция и даже не шестьдесят лет во времени (мне было двадцать), расстояние было куда большим, они были от меня за стертыми миллионами лет, в том времени, когда земля была из голого камня, кремнистая, без кислорода, без суестьи множавшихся клеток и уж, конечно, без единого на ветру листка.

А они уже разделились на пары, и старик старику кашлял: «Что? Потереть тебе спину, как потеряли тебе ноги?» — и засмеялись оба. У старика, которому это говорилось, на внутренних сторонах ног, начинаясь от колена и взбираясь все выше и выше и даже выбрасываясь и выползая на ягодицы, почти правильными полосами раскинулись чудовищные потертости — был ли этот симметричный архипелаг от какой-то болезни, или от расправы, или же просто от седла, с которого он годами не слезал в молодое время, определить сейчас было уже невозможно. Цветом и составом потертости напоминали серовато-черную плотность кирзового сапога. И далеко не сразу на спине, делаясь все краснее, стали проступать неправильные шрамы-рубцы, разбросанные алыми зигзагообразными нитками на белоснежном теле. Этот старик был совсем тихий, из тихих тихий, и даже стариковская странность его тоже была тихой странностью: старик был шептун.

Он любил сидеть на солнышке, грея старые кости, и как только все умолкали — в паузу, — он начинал шептать, в какой год и с кем занималась тайно от мужа любовью его младшая, сорокалетняя дочь Клавдия. Сначала он шептал, вероятно, правду, потом, увлекшись, стал сочинять. Внимание он любил. Глаза у него были напрочь выпцветшие и наивные, был и один зуб, — кстати, на всю группу стариков приходилось два зуба, все они обожали зевать, разводя пасть до немыслимых размеров и иногда ее крестя. Старик шептал, что дочка многих любила, «и Кошелева любила, и еще ентого». Я помню, как дочь свирепела. Я не видел, но я слышал крики, даже не крики, а пiski младенца, не понимающего, за что бьют и чем, собственно, Клавдия опять недовольна, — именно непо-

нимающего, потому что уже вечером он выполз на солнышко при закате, побитый, с полуоторванным ухом и тут же зашептал:

— А самое интересное про нее я досказать не успел...

В каком бы виде и обличье ни встречались мне дальше в жизни старики, я их не пугался, даже не настораживался, и, если старик был начальником и если начинал, скажем, орать, я только улыбался втихую, думая про себя, что это он еще не добрал до бани, не разделся, не взял мочалку и не стал тереть спину напарнику, потому и сердится, бедный, ну да отойдет скоро. Я их знал как бы наперед, сподобился в юности и помнил это; и удивительно, что старики, как бы грозны и сановиты они ни были, тоже вроде бы знали, что мы вместе когда-то мылись. Они тоже помнили. Иногда, впрочем, я натывался все же на окрик: старик был узнаваем и угадываем мною не сразу, — но незнание скоро и живо рассеивалось, он вспоминал меня, а я его; я просто доселял его в ту, моющуюся группу, но не среди семи стариков, а чуть дальше вдоль по скамье, в клубах пара он тоже в тот раз терся мочалкой, тоже ловил выроненный обмылок, и я *тогда* попросту не разглядел его, потому что он сильнее других жался к теплу, а пар там был погуще.

Больше всего читались спины; спины стариков — это жизнеописание, их можно разглядывать часами, восстанавливая не только жизнь человека, но тип, вид этой жизни, даже ее ритм. Спина начинала разбег и рост вверх стремительной худобой, как молодое деревце, вклинивающееся в воздух, — говорила она о довольно вольготной, вероятно, сытой юности; потом шло округление, как окольцевание на дереве, на человека в середине жизни сваливались беды и тяготы, а развал лопаток подчеркивал боль дряхления и поздний, с пробужденным уже сознанием трагизм. Спина повествовала, как повествует старая книга. И невыразительность, по сравнению со спиной, детски опростившегося лица была очевидным и обидным фактом. Другая спина сразу же была словно задавлена тяжестью; сантиметр за сантиметром, не любимая людьми и богом, она пробивалась кверху с невероятными усилиями и скрежетом; скисла, так и не пробившись, и лишь неожиданно легкий разлет плеч над этим бесформенным обрубок подсказывал, что и эта спина как-никак прожила жизнь долгую и, может быть, хотя бы потаенно прихватила кое-где свою малую долю солнца. Если хироманты не интересовались чтением спин, то, вероятно, только потому, что спина начинает читаться и говорить о жизни слишком поздно: в этом возрасте уже не гадают о будущем, будущее знает каждый.

Совпав со стариками однажды — допустим, во вторник, я попал в ритм и чуть ли не два месяца совпадал с ними, потому что баня в поселке была строго еженедельно. Какая-то домашняя случайность как

свела, так затем и развела нас, и теперь мы мылись порознь, с разницей в день-два, и иногда, спеша в магазин, я вдруг натыкался на всю стайку, со свертками идущую к бане. Последним в группке стариков плелся по улице тот единственный из них мрачный и злобноватый старик, который в предбаннике оглянулся и крикнул: «Зар-разы!» — он всегда плелся последним, бурча что-то самому себе под нос.

— Кто это? — спросил я у матери и теток, и они сказали, что старик был в молодости и в зрелости и даже в первой старости необыкновенно веселым человеком. Мне это запомнилось: перемена под самый занавес. Одна из теток прямо сказала: «Таким забулдыгам нельзя доживать до глубокой старости... Он же, *дэмин*, всех ест поедом», — а другая тетка подхватила: «Письма пишет в газету, гадюка!» — и они стали вслух гадать, чего бы это человек переменялся, притом без причины, на ровном месте переменялся, и ведь веселым был, бесшабашным каким был, и ведь как любили его все... надо ж так!

Я успел запомнить и то, как они трут спины друг другу. Стоя немного боком, не как женщина, старик упирался руками в скамью, а голову свешивал, расслабив шею полностью, как свешивают головы только старики, — напарник тер его мягко, даже нежно, ласкающими неторопливыми движениями. Он вовсе не драил, он словно тоже на спине видел и читал всю долгую жизнь склонившегося перед ним; а нацеливаясь и выходя мочалкой на ребра, трущий старик скашивал голову в освещенную сторону, вглядываясь и словно не вполне и не до конца доверяя рукам, которые грубы и которые могут проскочить по этой костно-реберной волнистости, как по стиральной доске. Сказывался и опыт. Напарник тер ровно, не убыстряя и не умедляя темпа, и вдруг останавливался, завершал банное дело, как завершает его человек, всегда и точно знающий, когда будет в самый раз. Они знали точно. Никто и ни разу не переспросил: «Еще?» — никто из трущих не предложил, как предлагают друг другу мужики: «Подраить по-второму, а?» — старики не спрашивали, они знали. Опыт сказывался и в самом начале: прежде чем тереть спину, напарник некоторое время вертел в руках *«ужую»* мочалку, он как бы изучал ее и примеривался, словно сверялся со вкусом хозяина, словно и у мочалки была индивидуальность и параллельная жизнь, отражающие индивидуальность и жизнь хозяина. Повертев и порассмотрев, он опускал ее на спину — опускал не жестким и не самым мягким углом, а тем и только тем, каким надо. Ходовое сравнение стариков с детьми в бане нарушалось — на улице, в магазине, в бараке старики и действительно были равнодушны, заняты собой и жестоки, как дети, но в бане старики были нежны.

Один из стариков заснул — он заснул, сидя на банной скамье в позе кучера, свесив руки меж расставленных колен и уложив подбородок на свою впалую грудь; за миг до засыпания он выронил шайку, и сейчас она

медленно описывала круг за кругом по банному полу, покрытому текущей водой,— слой воды был тонок, расплюснутый по полу, растекшийся вширь и распластавшийся ручей теплой воды, на которую гладко и так приятно было в юности ступать ступней. Мимо прошел другой старик. Он шел еще к одному старику, к третьему, собираясь тереть ему спину,— я думал, что, проходя мимо заснувшего, он непременно поднимет ему шайку, но он, видимо, поторапливался, потому что тот, третий старик уже стал на изготовку, выгнул спину и в сладостном предчувствии мочалки медлительно и зябко поводил лопатками. Поэтому проходивший, не прерывая осторожного шага, лишь тронул мягко ладонью лысую с белыми охвостинками голову заснувшего старика и качнул ее направо-налево — заснувший старик встрепенулся, зевнул во всю пасть и пробормотал:

— Шаячка укатилась... — и опять заснул.

Шайка, уже заканчивая движение, исчерпывая до нуля выданную ей энергию падения, поворачивалась совсем медленно, останавливалась, а старик спал — это был тот желчный старик, который днем шастал по бараку, клял, бранил, писал даже в газету. У памяти своя сила и своя лепка: она уплотняет не только время, но и образы людские, если они схожи. Желчный старик, выронивший шайку, навсегда слился для меня с мрачно-злым Савелием Грушковым, толкователем «Ада», и подчас я почти с уверенностью думаю, что мылся в бане именно с Савелием. Не раз и не два подползала мысль, вкрадчивая: может быть, потому под самый занавес жизни они переменялись, что всю жизнь были веселы, озорны, добры и любимы?.. Может быть, жила в этом тайная и скрытая и даже неосознаваемая потуга на бессмертие: конечно, все люди смертны и умирают, но почему бы ему, которого все *так любили*, не быть исключением. Почему бы не выжить лучшему? Возможно, что в старину наши святые, канонизированные или полуканонизированные церковью или просто возведенные народом при жизни в легенду, все эти подвижники, страстотерпцы, голодари, отшельники и добрых дел мастера,— быть может, ближе к часу, в поздней старости, они тоже начинали вдруг нервничать, волнуясь и тревожась, а ну как их кости по ту сторону смерти не превратятся в мощи, а сгниют и истлеют, как гниет и истлевает все. Едва ли это смешно и эгоистично: тут есть своя боль. Он заснул, его потрепали по голове — и, не просыпаясь, он пробормотал, как пробормотал бы о кончившейся жизни:

— Шаячка укатилась...

Покружив по влажному полу, шайка остановилась,— а здесь же двигался меж скамьями здоровенный, с выставленным вперед животом, работающий Куров. Куров держал в руках свою шайку, она-то и закрыла от его глаз ту, что кружила по полу,— Куров с маху и больно стукнулся о нее мословинкой левой ноги и даже вскрикнул, охнул. «Заснул, что ли, дед?» — рывкнул он так, что люди в бане на миг притихли и стал слышен

шум воды. Старик, не очухавшийся вполне, протер глаза; он зевал и бормотал испуганной скороговоркой:

— Кто-ты-кто-ты-кто-ты?..

Куров, уже переборов остроту боли, вновь рявкнул: «Апостол Павел я — встречать тебя послан, мать твою в берег!» — и в бане засмеялись, загоготали, и вот тут, хотя, в сущности, ни намек, ни подсказки, ни тем более угрозы вовсе не было, старики вдруг один за другим, как засидевшиеся гости, начали приподниматься со скамей, помогая друг другу в банной немощи; встали и один за одним потянулись к парилке. Они встали немо. Ни слова. Их никто не прогонял со скамей, их никто не прогонял из жизни. И медленно-медленно зашлепали, опасливо ставя ноги на скользкий ручейный пол. Так же, один за другим, они входили в парилку — двери не было, из дверного проема оттуда валил пар, водяная пыль с жаром, и все это поглощало и съедало старика за стариком; они шли туда, может быть, три, может быть, пять медленных минут, но для меня, отстранившегося, они шли сотни, если не тысячи лет, — студент и болтун, уже подпорченный игрой обобщений, я видел, что это уходят люди вообще, вышедшие когда-то из воды, поползшие, затем поднявшиеся на четвереньки, затем превратившиеся в млекопитающих, затем вставшие на ноги: люди как бы дошли до своего конца и часа, исчерпали развитие — и опять уходили в воду, в пар. Я видел их спины: с каждым шагом опасливо удаляющейся цепочки стариков их спины (их нынешние лица) уменьшались, как уменьшаются светлые пятна, и, совсем малые, наконец, скрывались в проеме парилки. Вода, пар и жаркая тьма дверного проема поглощали их одного за одним. Осталась видной единственная спина; погружаясь в проем, старик оглянулся — он и тут оглянулся, желчный и озлобившийся старик, он и тут шел последним в группке, — оглянувшийся, он уже в белесой тьме проема, словно вспомнив, что их прогнали и вытеснили, крикнул: «Зар-разы!..»

8

Голоса не надо путать с вдохновением; вдохновение — это состояние пишущего, голос же, говоря грубо, материален — он несет в себе, например, желтые вершины гор, или степь, или Курский вокзал, он несет в себе ту или иную боль, то или иное поразившее тебя, но вполне конкретное человеческое лицо, конкретно улицу или конкретно поселок. Голос существует и тогда, когда он неслышен: он притих, не более того. С точки зрения вбирания в себя голос достаточно широк и несет в себе всё и всякое; и если кто-то захочет найти в нем свою исключительность или даже свою болезнь, он ее там найдет.

Голоса имеют свою жизнь во времени: от и до. Голоса возникают, то есть однажды рождаются, — некоторое время они будоражат тебя, на-

поминают, подначивают, тревожат, достигают наибольшей силы, это пора их зрелости, — потом они гаснут, слабеют. А затем, как и положено живым, голос умирает, он смертен. Прожив отпущенный ему природой век, месяц, или год, или, скажем, три года, голос умирает в тебе, оставшись чаще всего нереализованным. И однажды тебя начинает будоражить другой голос — следующий.

В каждом человеке в этом смысле есть свое и особое кладбище голосов. Они погибли. О них можно помнить, но поправить уже ничего нельзя, потому что их звучание в тебе кончилось; они мертвы.

Бывает, что голос в тебе еще достаточно силен, он напоминает о себе на ночь глядя, однако ты уже бессилён каким бы то ни было образом на него откликнуться или хотя бы, удерживая при себе, осмыслить; время этого голоса позади, момент упущен. Тем не менее голоса эти долго еще слышатся и напоминают, как правило, они звучат с укором, нет-нет и вынырнут ближе к ночи, щема сердца.

Напрашивается сравнение этих тихо звучащих голосов с опавшими листьями — образ старый, сработанный и затертый, но его можно в меру модернизировать. Изошряясь, можно представить себе листья или ворох листьев, лежащих под деревом, под осиною, да и осина сама — не обязательно осина, а некое деревце на киноэкране; время, конечно, осеннее, листопад. И вот кинолента прокручивается обратным ходом (у режиссеров есть такой прием), лист отделяется от вороха, отделяется от массы ржавых и старых и кучно лежащих собратьев — с земли лист начинает медленно подниматься кверху. Он переворачивается в воздухе. Он кувyrкается. Переворачиваясь и неспешно кувyrкаясь, лист ползет все выше и вот, замедленно поплавав в воздухе, среди незнакомых веток, словно выбрав и отыскав маму, он приклеивается к своей ветке, к своему маленькому черенку. И живет. Некоторое время он вновь живет и даже трепещет, подрагивая мелкой дрожью, как положено подрагивать на ветру осиновому листу. А снизу уже поднимается следующий лист. Тоже неспешно кувyrкается. Тоже ищет ветку.

Усиливая сравнение, можно вновь представить себе эту киноэкранную осину и под ней ворохи опавших листьев, но только листьев *не этого года*, а прошлого или позапрошлого. Они из уцелевших случайно; они пролежали зиму или две, случайно не сопрели, не сгнили, хотя и пожухли, почернели и ослабели своей лиственной тканью, едва не рассыпающейся в труху, — но некоторые все же сохранили и форму, и отчасти красноватый остаточный цвет. И вот режиссер вновь крутит ленту назад, допустим, он это в силах: лист за листом отрываются от поверхности земли и — медленно, неспешно — поднимаются кверху. Лист кувyrкается, переворачивается. Он приближается к массиву кроны, втискивается, кружится, залетая то справа, то слева, но там-то другие листья, там дру-

гие ветки — нынешнего года, — и листья не находят своего бывшего места, им нигде приткнуться, нигде пристроиться. Так они и плавают в воздухе.

Некоторые голоса в нас не исчезли, не сопрели, как прекнут листья, — нет-нет и голоса напоминают нам о себе, заглядывают в нашу душу и с той стороны, и с этой, но им не найти своего места, их время прошло. Иногда их время совсем далекое, и тогда мы говорим, что нас тревожат голоса предков, — печальные голоса. И мы впадаем в беспросветный пессимизм и не понимаем, что же это нас оклакает и что не дает покоя.

Меня долго преследовала сцена, где три физически сильных и хладнокровных человека убивают или насиуют некую жертву, а я вижу, но стою в стороне, — и оттого, что я в стороне, мне стыдно и скверно. «Тебя-то мы не тронем, не бойсь!» — кричат мне трое, и я только жалко улыбаюсь и переминаюсь с ноги на ногу, как бы парализованный страхом и жутью. Со мной никогда не было ничего подобного, и вины этой тоже не было.

Однако с постоянностью мстящего духа вновь и вновь, примерно раз в полгода-год, с тем расчетом, чтобы я успел забыть и чтобы вновь было напоминание *внезапно* и остро, на меня накатывала тревога. Иногда в виде сцены. Иногда в виде смутного переживания. Иногда с подробностями. И всегда с чувством покаянности и вины за свое постыдное бессилие и невмешательство. Было похоже, что кто-то из моих предков когда-то не вступился в такой вот ситуации, не вмешался, жалко улыбаясь и стоя в стороне, но с кем из них это было? и когда?.. поди знай. Голос, вероятно, преследовал моего предка до самого смертного его часа. Слабее, а потом еще слабее он преследовал моего деда и моего отца; голос преследовал мужчин, это понятно. Теперь же совсем слабо и лишь иногда он преследует меня, даже не преследует, а лишь напоминает: мститель на излете.

В одной из не самых больших стран Востока два брата-буддиста отрезали голову своей матери. Они отрезали ей голову с ее полного согласия; это было в 1962 году.

Замысел там был таков: у братьев-буддистов во время богослужения украли сто, допустим, рупий. Вора они не знали, вор скрылся. Дух их умершей матери должен был теперь преследовать вора в течение всей его нечестивой жизни. Дух должен был мешать вору красть, должен был помогать его преследователям и врагам, дух должен был терзать его еженощно во сне кошмарами.

Когда трагизм случившегося события — я имею в виду отсечение головы, а не кражу ста рупий — уже прошел сквозь мое нутро и когда я,

попривыкнув к факту, уже смотрел на случившееся (довольно далекое с точки зрения географии и в общем чужое) спокойно и обыденно, тут только до меня дошло и тут только я оценил всю мощь замысла. Я понял, насколько легче было теперь братьям-буддистам жить. Насколько торжественнее и чистее стали их службы и молитвы богу. Я понял и как бы увидел их, сидящих на молельных ковриках и прикрывших лицо ладонями. Признаться, я увидел и саму старуху: часа за два до отсечения головы (я увидел и представил ее в этот самый момент) старуха злобно смеялась, она потирала руки, предвкушая, как ей отсекут голову и как она будет в скором, в самом скором времени мучить жертву. Известно, что она специально отрастила и не стригла ногти. Старуха была счастлива; старуха рвалась в бой.

Если запомнившиеся, словно бы расширяющиеся минуты и впрямь компенсация, то почему бы не счесть такие вот минутные выхлопы души голосами людей, давно, быть может, умерших, которые, петляя по родовым цепочкам — прапрадед — прабабка — дед — мать — сын, — дошли наконец до тебя и иногда звучат, нет-нет и распирая тебя генетической недоговоренностью. Можно представить и вообразить пожарную кишку, длинную, наглухо закупоренную брезентовую трубу, которая в одном-единственном месте — в тебе — имеет случайную трещину, дыру небольшую и, стало быть, выход. И вот, передавая давление всей бесконечной водяной массы в трубе через крохотное отверстие — через тебя, — уже бьет тонкой струей вода, уже фонтанирует, и иногда это довольно сильно, и можно подставить рот и напиться. Картина не без красоты: целая вереница безъязыких или недоговоривших прадедов подсказывает тебе что-то, нашептывает, сокрушаясь и сетуя, что ты такая глухая и что ты так мало можешь услышать.

Я горы, доли, и леса,
И милый взгляд забыл,
Зачем же ваши *голоса*
Мне слух мой сохранил...—

на самом же деле человек поет, как говорится, от обратного. Уже в утрате своей поет. То есть с возрастом он именно леса, и горы, и милые взгляды научился ценить и знать, и узнавать вполне, а вот голоса свои он уже не слышит; отрочество и детство далеки, в суете голоса неразличимы. Их трудно выделить и вычленишь, как трудно высвободить понравившуюся вдруг мелодию в сработавшемся от времени транзисторном приемнике, — и собрать воедино хотя бы обрывки своих голосов, хотя бы отголоски их, кажется сложным и тяжким не по летам.

Умирают, как известно, по-разному, — говорят, молодые умирают легко. Можно предположить, что умирающий в молодости слышит разом все свои голоса, которые, не умри он, будоражили бы исподволь

в течение долгой или даже затянувшейся жизни. Все отпущенные ему голоса умирающий молодым слышит разом, и тогда, надо думать, это действительно сладчайший миг. И если отвлечься от романтической подосновы, можно, пожалуй, согласиться, что умирающий до времени имеет свою определенную компенсацию: как-никак он слышит все свои голоса и с ними же уходит, не растеряв их, и держа при себе, и уж, во всяком случае, зная, зачем и с чем он приходил на землю. Голос требует импровизации, притом мгновенной. Но где же ее взять, если ты человек, обкатанный бытом и возрастом, а не летящий по небу и без передышки поющий ангел и если импровизация — это не заранее и втихую накопленный запас слов, которые ты можешь вынуть из кармана, а можешь и не вынуть.

Владимир Семенович МАКАНИН

ГОЛОСА

Повесть

Редактор А. В. Караулов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 23.10.87. Подписано к печати 11.12.87.
Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,19. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 150000 экз.
Заказ № 1465. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.